

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



ЛИЦА И ЛИК

ПОВЕСТЬ*

1

Первого ребенка Веры и Николая звали Гришкой. Мальчику было девять лет.

В тот день, когда семья пополнилась еще одним человеком, Гришка так и не узнал, кто это: братик или сестричка. Да и вообще Гришка ничего определенного не знал: еще затемно, утречком, родители как уехали на “скорой”, так их и не было, и мальчик поздно вечером лег спать без них.

Гришка учится в четвертом классе. Недавно было родительское собрание. Мама, придя домой, сказала, что учительница хвалила Гришку: хорошо учится и вообще самостоятельный мальчик.

Гришка уверен, родителям приятно, что сын такой. Но вместе с тем ему немного и обидно: учительница же не знает, что он не боится один оставаться дома! Она также не знает, что он всегда помогает маме мыть пол, вытирать пыль со шкафа. А самое главное — Гришка умеет зажигать газ на плите и разогревать обед! Интересно, если бы знала, что бы тогда сказала Анна Кузьминична?..

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор книг прозы “Прывід у скураным крэсле”, “Напрадвесні” и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Работает главным редактором издательства “Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки”. Живет в Минске.

* Журнальный вариант.

Учится Гришка в первую смену. Школа далековато от дома, где они сейчас живут. За три года родители трижды переезжали из квартиры на квартиру. Немного поживут в одной, хозяева или скажут, чтобы платили больше, или сошлются на то, что сейчас самим понадобилась жилплощадь, — освобождайте!

Две прежние квартиры, что снимали Гришкины родители, были ближе к школе. Плохо, конечно, — школы приходится так часто менять: не успеешь привыкнуть к одной — следующая... И в каждой нужно заново со всеми знакомиться, заводить новых друзей.

Эта школа — за противоположным краем большого пустыря, разделяющего два микрорайона. Недалеко от дома пустырь спускается в низину. С этого края он порос кустарником. Но ни пустыря, ни школы из окна квартиры не видно: оно выходит во двор. Двор большой, обрамлен старыми липами, между ними — густой кустарник.

Этот двор хорошо знают мальчишки из ближайших домов. Во всем микрорайоне только здесь такая большая спортивная площадка. На ней — футбольные ворота, турники, лестницы, вкопанные до половины в землю старые мазовские колеса: чтобы пробежать по ним и не упасть — нужно быть таким ловким, как Гришка.

А еще двор нравится пенсионерам: здесь под липами стоит длинный, сколоченный из досок стол. Вечерами по нему любители домино громко стучат костяшками — “забивают козла” или “ловят рыбу”.

Но Гришке во дворе неинтересно: местные мальчишки не берут его играть в футбол. И вообще они зовут его малым или чужаком. Когда выйдет во двор, где мальчишки гоняют мяч, только и слышит: “Малый, подай!.. Малый, отойди и не мешай!.. Малый...”

Гришке нравится пустырь. Летом, пока мальчик не работал, там, в маленьком озере, он ловил карасиков. А еще однажды он нашел в кустах птичье гнездышко, о котором никто, кроме него, не знал.

Мальчик гнездышко не трогал. Иногда, спрятавшись в густой траве недалеко от гнезда, он наблюдал, как маленькая серенькая птичка высиживала птенцов. Видел также, как она внимательно посматривает на него, наверное, готовая в любое мгновение, если он попробует протянуть к ней руку, вспорхнуть и улететь. Гришка знал, что делать этого нельзя: птичка может навсегда покинуть гнездо, и тогда яйца остынут, птенцы не выведутся,

А через несколько дней в гнездышке появились птенцы — четверо серых живых комочков. Каждый раз, когда их мать прилетала к гнездышку, принося им еду, они поднимали невообразимый писк. Он видел, как птичка поочередно кормила птенцов, передавая из своего клюва в их маленькие клювики каких-то козявок. Гришка радовался, что мальчишки о гнездышке ничего не знают: они такие, могли бы разорить его — бросают же камни в кошек, живущих в подвале дома. А когда кому удается попасть в кошку, неистово орут, радуются и начинают бросать в нее камни с еще большей ожесточенностью: даже взрослые не всегда могут остановить их.

Вскоре птенцы улетели, гнездышко опустело. Мальчик одновременно печалился и радовался. Печалился потому, что оставался на пустыре один, а радовался, понимая, что птенцы уже стали птицами и сейчас их жизнь зависит только от них самих: “взрослые”!

Да, пустырь ему нравится. Летом там цвели разные травы. На них звенели пчелы и шмели. Там пели птицы. Сейчас пустырь засыпан глубоким снегом.

Осенью, в холода, когда часто шли дожди, а на пустыре пожухла, полегла на землю трава, строители на “КрАЗах” привезли сюда плиты, трубы, гравий, кирпич. Их выгрузили где попало да так и оставили. От дома, в котором живет мальчик, до школы и до ближайшей — она недалеко от школы — автобусной остановки протоптана глубокая тропинка. По ней до школы намного ближе, чем по улице. Но на тропинке ребят встретишь не часто: родители запрещают им по ней ходить, так как здесь постоянно бродят любители выпить и бомжи — говорят, от них можно всего ожидать.

Случается, здесь слышатся ругань, крики, кто-то грозитя кого-то прибить. Но Гришка все равно не боится здесь ходить. И Витька, его единственный дружок, бегаёт по этой тропинке. Правда, только через день, на большой перемене, — когда Витькина очередь покушать в булочной хлеб. Магазин же недалеко от дома, в котором живет Гришка.

У мальчишек есть тайна: каждый день они сбрасываются из тех денег, что дают им родители на обед, покупают полбатона на двоих — экономят. Едят где-нибудь в уголке, чтобы никто не видел, потом пьют воду из-под крана. Мальчишки хотят до конца учебного года собрать побольше “зайчиков” — деньги очень нужны и Гришке, и Витьке...

От этой грязно-рыжей, скользкой после оттепели в мороз тропинки во все стороны растекаются узенькие тропки, усыпанные разноцветными пробками от бутылок, битым стеклом, обрывками газет, остатками еды. Тропки ведут за плиты и трубы, где собираются любители выпить. Те отираются там с самого утра — как только откроется магазин. Это сейчас, а летом, наверное, некоторые люди на пустыре и ночуют. И сейчас, зимой, если присмотреться, видно издали, как из-за плит и труб время от времени высовываются головы, когда ко ртам прикладывается бутылка.

Гришка и Витька тех людей меж собой называют “горнистами”. Мальчишки слышали, что так их называли милиционеры: те однажды осенью приехали сюда на машине и гонялись за ними. Но где там! “Горнисты” убежали через болото-озерцо в кусты, милиционеры походили возле воды, да ни с чем и поехали.

С этими “горнистами” Гришка и Витька ладят. Случается, когда мальчишки идут по тропинке в школу или из школы, “горнисты”, заметив их, высовываясь из своих укрытий, просят:

— Ребятишки, посмотрите, не видно ли где поблизости ментов?

Ребята с готовностью смотрят: “Нет”. А если вдруг на тропке появляется человек в форме, с радостью предупреждают: “Есть! Прячьтесь!”

Конечно, будет очень жаль, если весной пустырь начнут застраивать. Все исчезнет: и птиц не будет, и озерца-болотца, и тропки, и этих людей, жизнь которых Гришке непонятна. Иногда он думает, что у этих дядей нет квартир, семьи, работы. И ему становится страшно: неужели когда-то такое может быть и с ним?... Хотя квартиры у них своей нет, но папа работает. У папы есть он с мамой. Папа о них заботится, а они с мамой о нем. Гришка помогает маме, старается хорошо учиться... Нет, такое, как с этими дядями, с ним не может быть... Да и с Витькой, его другом, с которым сидят за одной партой, — тоже. У Витьки нет отца, только мама да сестренка, и он, как взрослый, заботится о них. Витька даже умудряется зарабатывать деньги не только на сладости для сестрички, но и на еду семье. Гришка тоже хочет зарабатывать деньги, но пока ему это не удается. Мальчишки понимают, что, экономя на обедах, им много денег не собрать, но все же... Может, когда вырастут, смогут стать коммерсантами — тогда иное дело. А сейчас даже все взрослые, кого они знают, почему-то никак не могут хорошо заработать. Вон Гришкин отец, к примеру, как ни работает (часто приходит домой за полночь), а заработать денег столько, чтобы семья жила беззаботно, не может.

Но как бы там ни было, мальчишки не теряют надежды к летним каникулам собрать столько денег, чтобы родные порадовались, когда узнают сколько. А пока...

В этот день Гришка, расставшись после занятий с Витькой — друг жил в микрорайоне недалеко от школы, сразу побежал домой. Еще бы не спешить: отец обещал, что возьмет его с собой навестить маму в роддоме.

Утром отец, подняв Гришку с постели, сказал:

— Будешь хозяйничать один. Мы с мамой поедem — она за сестричкой или братиком, а я — на работу. Сразу после занятий жди меня.

Папа разбудил Гришку очень рано. Как только глаза привыкли к свету, мальчик понял, что остается дома один — мама была в пальто, а возле нее стояла женщина в белом халате, наброшенном поверх шубки.

Гришка понял, что сейчас маму повезут в больницу, в ту, где рождаются дети. Мама говорила ему, что скоро у него будет братик или сестричка.

Почему-то ему стало очень страшно, он еле сдержался, чтобы не заплакать, — только этого ему сейчас не хватало!..

Он хотел отвернуться, чтобы мама не увидела его слез, но она все поняла: подошла к нему, вновь улыбнулась, ласково посмотрела на него, поцеловала и сказала:

— Не бойся, сыночек, я поеду, а ты после школы побудь один дома. А вечером с папкой приедете ко мне. У нас все будет хорошо.

— Идемте, идемте, — торопила врач.

Мама, папа и врач ушли. Гришка остался один.

Как только за ними закрылась дверь, он подбежал к окну, прилип лицом к темному холодному влажному стеклу.

Возле подъезда, освещенного фонарем, стояла “скорая” с включенными красными подфарниками. Возле машины мама медленно (отец поддерживал ее под руку) повернулась, помахала рукой сыну. (Откуда она знала, что он смотрит?) Мальчик попробовал улыбнуться ей в ответ, но почувствовал на губах что-то соленое. Он начал торопливо махать маме рукой и махал, пока она не скрылась в машине. Тогда у него в горле защекотало, губы передернулись, но он сдержался, не заплакал.

Машина уехала, а Гришка еще долго смотрел ей вслед. Он отошел от окна, когда заметил, что снег стал зеленовато-желтым, а покрытые инеем веточки липок засеребрились. Тогда Гришке почему-то стало холодно, плечи его задрожали.

Он соскочил с подоконника, подбежал к раскладушке, лег, свернулся калачиком, словно хотел вытиснуть из тела озноб. В горле по-прежнему щекотало, разгоряченные щеки покрылись потом.

Будто через туман Гришка увидел на тумбочке будильник — половина шестого. В школу ему к восьми, значит, еще можно поспать. Но заснуть мальчик уже не мог. Слезы сами по себе текли из его глаз: он не плакал, нет — какие-то чужие слезы. Он всхлипывал и думал: “Кто лучше: сестричка или братик?..” Но сколько Гришка ни размышлял об этом, так и не решил — зазвенел будильник. Выбираясь из-под теплого одеяла, подумал: “Кто будет, пусть тот и будет. Как говорит мама, наше, никому не отдадим”.

2

Придя из школы домой, Гришка обедать не стал. Есть не хотелось, они с Витькой, как всегда, неплохо перекусили батоном, попили воды из-под крана: полные животы! Он сразу же принялся за уроки: а как же, учеба — это Гришкина работа, а работать плохо нельзя. И вообще, как говорят родители, любой работой надо дорожить. Вон после того, как отец на заводе остался без работы и долго не мог нигде устроиться, как им тяжело было! Мальчик видел, как отец переживал: почернел, сильно похудел, стал задумчивым. Одно время с такими же, как сам, безработными мужчинами он ездил в колхоз, что-то там делал. Потом кому-то строил дачу, разгружал на станции вагоны и даже некоторое время на стадионе продавал шмотье соседа Дунина. “А с Дуниным — совсем беда, — говорила мама, — отец так напродался, остался столько должен хозяину, что хоть иди просить милостыню!” Но, как говорит мама, мир не без добрых людей, их выручил папин школьный товарищ отец Василий. Сейчас у папы есть работа, он возит какого-то начальника.

Мальчик знает, что отец очень боится потерять свою работу: всякое может быть, говорят взрослые, время такое. Он слушается своего начальника, хотя часто обижается на него. Мама предостерегает отца: “Терпи, Николай, терпи. Без него мы пропадем. Где ты устроишься?”

Гришка старается слушаться родителей, особенно он понял, что не надо ничем их огорчать, после того, что случилось с ним летом...

Летом отец очень рано спешил на работу. И поздно возвращался, когда Гришка уже спал. И мамы также днем дома не было. Утром, накормив сына, приготовив обед, она брала тяжелую сумку, заходила за соседкой Артимоновой, и они спешили к метро.

Сын знал, что в сумке сигареты. Их маме и Артимоновне давал Дунин: “Продавайте!” Знал также, что Дунин вечером заплатит маме за работу: три процента от выручки. Мама говорила, что день на день не приходится, иногда она зарабатывает на ужин семье, а иногда — только на дорогу туда и обратно. Она также сетовала на то, что продавать сигареты ей стыдно и страшно: кажется, что на тебя смотрит весь мир, что все знают — спекулянтка. Но у нее и Артимоновны, пенсионерки, нет иного способа хоть как-то заработать на жизнь. И когда мама уж очень боится, соседка успокаивает ее тем, что у Дунина где-то есть “крыша”, а это означает, что никто не может обидеть работающих на него людей.

Гришке очень хотелось помочь родителям, но как и чем, он не знал. И когда они уходили из дома, он бесцельно бродил по улице, по пустырю. Родители знали, что их сын иногда ходит к озерцу-болотцу, где, случается, и взрослые сидят с удочками. Папа и мама разрешали ему гулять там, но предупреждали, чтобы был осторожен и, если вдруг кто-то из взрослых мужчин или женщин попробует его чем-нибудь заманить, пригласит идти с ними, то ни в коем случае этого нельзя делать: мало ли сейчас плохих людей.

Отец купил ему бамбуковую удочку. Гришка ловил карасиков, а когда собирался домой, выпускал — пусть живут... Здесь Гришка и познакомился с Витькой, тот тоже рыбачил. Мальчишки быстро подружились. Оказалось, что Витька ходит в ту же школу, в которой будет учиться Гришка, и даже классе у них один — четвертый.

Вскоре Гришка узнал, что у Витьки нет отца. Живет с матерью и маленькой сестричкой, о которых он заботится. Тогда Гришка отдал Витьке своих карасиков, солгав, что вчера дома у них была уха: каким-то необъяснимым образом почувствовал, что иначе тот не взял бы.

Витька, как считает Гришка, совсем взрослый. Он многое знает. Это Витька подсказал Гришке, где и как можно неплохо заработать: надо пристроиться возле гостиницы мыть машины. Оказалось, что многие мальчишки в разных районах города так зарабатывают деньги. Конечно, самые лучшие места — возле “классных” гостиниц. К примеру, возле “Юбилейной” или “Садовой”. Там даже можно получить доллары. Но там Витьке и Гришке делать нечего: там местные мальчишки работают и чужаков гонят взашей. Да и ребята постарше смотрят, чтобы никто посторонний туда и близко не подходил. А те, кто моет, отдают им часть денег.

Но Витька нашел выход. Недалеко от их микрорайона была небольшая гостиница. А почему бы не попробовать, если возле нее еще никто машины не моет? Да они будут первыми!.. Вот и забегал Витька за Гришкой, когда родителей уже не было дома. У мальчиков на пустыре были спрятаны ведра и тряпки. До гостиницы было всего три остановки. Она рядом с частным сектором. Там среди нескольких деревянных домиков, утопающих в сени садов, возвышались новые двух- и трехэтажные кирпичные коттеджи.

Мальчишкам повезло: возле одного, обитого желтой дощечкой домика, у забора со стороны улицы была колонка. Мальчишки набирали воду в ведра, шли к гостинице. Как только рядом останавливалась какая-нибудь грязная иномарка — их с каждым днем становилось в городе все больше — Витька и Гришка подходили к ней и начинали старательно смывать с нее пыль и грязь.

Интересно, но никто из хозяев не гнал их прочь, иногда только предупреждал, дескать, не очень трите, чтобы не порезать песком краску.

Когда через некоторое время владелец машины подходил к своему авто и видел, что она блестит как новенькая, то давал мальчишкам деньги. Правда, немного. Все рассчитывались исключительно “зайчиками”. А друзья складывали бумажки в целлофановый мешочек, и Витька, чтобы не отобрали ребята постарше, прятал его под ремень штанов, прикрывал рубашкой.

Вечером делили деньги поровну. Витьке хватало на молоко, хлеб, иногда даже на кусок колбасы, как говорил, своим женщинам — матери и сестричке. Гришка свои деньги не тратил, прятал дома на антресоли — копил.

Все шло хорошо. Им никто не мешал. Правда, каждый раз, когда мальчишки останавливались возле колонки, из калитки, обитой старой ржавой же-

стью, выходила худощая, вся в лохмотьях, в больших тяжелых резиновых сапогах старуха. Пока наливали воду в ведра, она молча наблюдала за мальчишками. Как только они шли к гостинице, не спеша возвращалась во двор. А через несколько дней, когда мальчики перестали обращать на нее внимание, старуха незаметно подошла к ним, схватила Витьку сзади за ворот рубашки и, повернув к себе, просипела в лицо, что колонка “приватная”, принадлежит какому-то Серому, и если они хотят здесь работать, то должны отдавать ей треть денег, а она — хозяину.

Витька сразу же согласился, и каждый вечер друзья отдавали старухе треть своих денег. А она, даже не посчитав, быстро прятала их за пазуху, приговаривая:

— Не вздумайте меня обманывать! Узнает хозяин — на одну ногу станет, за вторую каждого по отдельности располосит.

Предупредив, старуха молча поворачивалась и, что-то бормоча себе под нос, уходила.

Когда Гришка спросил у друга, кто такой Серый, Витька, с опаской поглядывая вокруг, прошептал:

— Хозяин района. Чтобы ты знал — все давно вокруг поделено между ними. Все — кто хоть что продает или, как мы с тобой, зарабатывает своим трудом, должны давать им дань. Иначе будет плохо. Серый — здесь хозяин!..

В слове “хозяин” Гришка услышал что-то уж больно грозное, страшное, беспощадное, дескать, знай, кто ты перед ним. Раньше, когда слышал это слово, хозяином Гришке представлялся дяденька, у которого они снимают квартиру и перед которым отец всегда стоял растерянным, когда тот в конце месяца приезжал за деньгами. Реже представлялся Дунин. Хотя родители боятся и того, и другого. Первый в любое время может их выгнать из квартиры или повысить плату за нее, а Дунин все еще требует рассчитаться с долгами, которые якобы наделал отец. Родители рассчитываются понемногу: нет у них возможности отдать все сразу.

Серый же может избить. Если не сам, то его помощники. Тогда Гришке стало страшно: заступиться за них некому — не скажешь же родителям, что такое может быть. Они не похвалят, что сын втайне от них работает. И если узнают — запретят: рано еще, мал!..

Гришка сказал об этом другу. Витька успокоил:

— Нас он не тронет. Думаю, его люди знают, что мы много здесь не зарабатываем. Да и отдаем столько, сколько велено — треть. А вот если бабуля себе что-то прикарманивает, так мы скажем, сколько даем каждый день: я помню. Пусть попробует соврать!..

Сейчас мальчик уже Серого и его людей не боялся. Он побаивался другого: на руках появились язвочки, нарывы — не увидели бы родители. Пока они не замечали этого: мама была занята своим — все еще продавала сигареты Дунина, а отец по-прежнему рано уходил из дома и поздно возвращался.

Деньги свои Гришка пересчитывал ежедневно. Вскоре их невозможно было сосчитать: не складывали еще таких цифр в школе! Он думал, что родители очень обрадуются, когда в конце лета, ближе к сентябрю, отдаст им деньги. Может, денег хватит не только ему на школьную форму, но и рассчитаться с Дуниным, заплатить за квартиру.

Неизвестно, удалось бы Гришке собрать столько, чтобы хватило на все задуманное, если бы недели через две местные мальчишки не прогнали их с Витькой отсюда. Сказали, что Серый ставит сюда своих, а чужакам здесь делать нечего. А придут — хорошенько наостыляют по шеям.

В тот день, когда отец пришел с работы, Гришка достал с антресолей целлофановый мешочек, напакованный деньгами. Высыпал на стол целую горку “зайчиков”:

— Мама, папа, смотрите!

Мама, увидев деньги, схватилась руками за голову, заплакала. Отец, как ужаленный, подхватился с места, по слогам отчеканил:

— Где ты их взял? Сейчас же отнеси назад!

Плача, утирая руками в болячках мокрое грязное лицо, Гришка рассказал родителям, откуда у него деньги. Мама, заметив, какие у него руки, запричитала: “Дожили... Из-за чужого богатства не заметили, как свой ребенок увечится...”

Она взяла в ладони руки сына, долго гладила их и плакала. Отец принялся успокаивать жену и сына, стал просить Гришку, чтобы тот не обижался, что такое мог о нем подумать, а мальчику от этого стало еще обиднее. Он никак не мог успокоиться. По его лицу текли слезы, казалось, внутри вспыхнул пожар — там все горело, начала болеть голова. И только час спустя, когда, казалось, и отец заплачет, мальчик и мать начали успокаиваться. А успокоившись, все трое долго сидели молча, каждый думая о чем-то своем, потом решили посчитать, сколько же он заработал. Оказалось, что Гришкин бизнес “прогорел” (отцовское слово). Инфляция “съела зайчики” (тоже его высказывание). Ну и пусть, главное — Гришка никому ничего не должен. Потом отец начал вспоминать, как когда-то сам в Гришкином возрасте зарабатывал хлеб — был подпаском у деревенского пастуха деда Евтехи. (Ему, отцу и матери очень трудно жилось.) Отец также говорил, что ему нравилось быть пастушком. Еще бы, целый день в лесу, да и кормили люди пастушка хорошо: а уж дед Евтеха... За лето он, отец, ухитрился растолстеть, как поросенок. Так что...

— Да не сравнивай ты свое и Гришкино детство, — сказала мама. — То разные времена, да и деревня не город. Люди разные.

— О людях ты так зря, — не согласился с ней отец. — Везде есть и хорошие, и не очень.

Руки его зажали быстро. Мальчик по-прежнему думал, как помочь родителям. Вскоре стало еще труднее: мама перестала носить сигареты к метро, а другой работы Дунин ей не дал. Папа же учился или переучивался на шофера: отец Василий оплатил учебу. В долг, иначе отец не соглашался.

Как понимал Гришка, отец Василий им помогает: они исправно платили за квартиру, да и с Дуниным рассчитывались.

Мама говорила, что друг отца совестливый человек: “сейчас таких мало”... По выходным она стала ходить в церковь. А однажды принесла оттуда икону в золоченой рамке, отец повесил ее в угол. Но Гришка не видел, чтобы родители при нем крестились...

После всего случившегося Гришка далеко от дома не отходил. Разве что стал чаще ходить на пустырь, туда, где в начале лета нашел птичье гнездышко. Почему именно туда — он и сам не знал: тянуло.

Во дворе мальчишки по-прежнему не принимали его в свою компанию: чужак, малый... Куда ему было податься одному? Витьки уже не было в городе. Мать отвезла его и сестричку в деревню к бабушке. До начала занятий в школе друзья не виделись. Встретились в одном классе — четвертом “В”. Учительница, наверное, поняв, что они дружат, посадила их за одну парту.

Хотя у Гришки всего один друг, есть и неприятели. Это Гарик и Альбертик, одноклассники. Как говорит Витька, мамкины сынки. Их отцы привозят в школу на лимузинах. Они смелые показывать мальчишкам языки и фиги из машин, а так все около учительницы крутятся. Ни с кем не дружат. На уроках отвечают плохо, но почему-то учительница плохих оценок им не ставит.

Вообще-то Гарик и Альбертик хвастуны. Хвастаются, что летом были в Италии. Говорят, что в следующем году поедут в Америку. Может быть, и поедут, родители у них богатые. Гарик и Альбертик говорят, что скоро пойдут в другую школу. Элитная называется. Пусть. Надоели они всем. Вот сегодня на большой перемене они встретили на пустыре Витьку и вываляли в снегу. Храбрецы — вдвоем на одного! Отобрали хлеб, футболили им как хотели. Неизвестно, чем бы это окончилось, если бы за Витьку не вступились “горнисты”. Гарика и Альбертика они, конечно, не догнали, но те, убегая, орали на всю округу: “Мама!” “Горнисты” стыдили их, говорили, что пойдут в школу и расскажут учительна, чем занимаются их ученики, но почему-то не пошли.

Побитый, вывалянный в снегу, Витька притащился в класс перед самым уроком. Одежда мокрая. Рукав в курточке оторван, зуб на зуб не попадает, сбитый в ком хлеб он держал за пазухой.

Учительница, увидев его таким, ругала перед всем классом, говорила, чтобы не бегал на переменах неизвестно где: свернет себе шею, а ей — отвечать!

Витька не оправдывался и не жаловался, что на него напали Гарик и Альбертик. А те сидели и хихикали.

Потом уже, когда мальчики ели под лестницей холодный мокрый хлеб, Витька рассказал Гришке, что с ним случилось. Сказал, что Альбертик и Гарик требовали денег. Сожалел, что налетели они на него неожиданно: выскочили из-за трубы, сбили с ног, а так он показал бы!.. С деньгами, конечно, надо быть поосторожнее: мальчишки постарше отбирают деньги у младших.

Витька и Гришка решили пока мамкиных сынков не трогать — будут неприятности. А неприятностей у Гришки и так хватает. Ему и сегодня неприятно, что не удалось летом заработать, что мама плакала и отец был недоволен.

Сейчас мальчишки экономят на обедах, Витька придумал это. Гришка рассчитывает, что к лету, к окончанию учебы, у него соберется немало денег. И тогда родители не станут ругаться: он же машины не мыл, не воровал, ни у кого не отбирал — сэкономил. Отец экономит на обедах, сам иногда говорит об этом маме.

3

Гришка сделал уроки, прошло часа два, но есть и сейчас не хотелось. Да и какая еда сейчас пойдет, когда живот был как никогда полный, тяжелый, будто там — камень. Наверное, переел хлеба под лестницей, хотя, как всегда, у мальчишек было полбатона на двоих... Ну ничего, вот только что-то знобит. Да и живот болит. Как-то непривычно: раньше поболит-поболит да и перестанет. А сейчас... Наверное, неплохо было бы поесть чего-нибудь горячего. Сегодня дома еды хватает. Вчера мама целый день варила, жарила, тушила, говорила, что нужно наготовить впрок, чтобы мужчинам (это отцу и ему) хватило на все дни, пока ее не будет дома.

Мальчик знает, что на балконе завернута в фуфайку большая кастрюля голубцов. На подоконнике на кухне стоят тарелочки холодца, а также какая-то еда в холодильнике у соседки Артимоновны. Есть у них еще одна очень вкусная еда — язык проглотишь — приличный кусок промерзшего, с прослойками мяса, сала. Тоже на балконе. Сейчас, если бы не болел живот, Гришка отрезал бы ломтик. Сало из командировки привез отец, и мама дает ему понемногу на обед. Отцу нужно хорошо питаться, ибо время от времени у него в глазах помутнение и кружится голова. Мама говорит: “Не дай Бог, потеряешь сознание за рулем — разобьешь машину или сам себя покалечишь: как тогда жить?”

Размышляя так, мальчик не заметил, как наступил вечер. Осмотрелся: показалось, что вокруг него сжимается темнота, угнетает. За окном уже не было слышно, как раньше, голосов его ровесников — те, как придут из школы, так и катаются с горки — ее залили их родители. Гришка туда не ходит: его отец горку не заливал, ему было некогда.

Гришка вновь, как утром, взобрался на подоконник. Мальчика по-прежнему пробирало озноб. От окна веяло колючим холодком, но Гришка решил не набрасывать на плечи курточку: надо закаляться.

Он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда же из-за угла дома выедет отцовская “Волга”. Такая машина здесь одна: с антенной радиотелефона наверху... Но уже давно стемнело, а папы все нет. Вот из-за угла показалась круглоносая дунинская иномарка. Такой здесь тоже нет ни у кого: джишом зовется.

Как всегда, машина этого коммерсанта остановилась напротив подъезда. Стукнула дверь. Из салона выкатился кругленький Дунин. Как обычно, он несколько раз обошел свой джип, по очереди потянул за дверки: закрыты. Убедившись, что все нормально, пошел к подъезду.

Дунин — в подъезд, а из подъезда — огромный черный кашлатый Рекс. Собака, как всегда в такое время, тянула на поводке свою хозяйку, старую

Артимонову. Наверное, Артимоновне очень не хотелось таким холодом идти на прогулку, но Рекс был сильнее ее, легко тянул хозяйку за собой, и вот уже она в больших валенках, словно на лыжах, суется по укатанному снегу. Рекс подтянул ее к джипу, пометил сначала заднее, потом переднее колесо, завилал хвостом и, смилостивившись над старушкой, не спеша пошел к подъезду.

Уже совсем стемнело, а отца все еще не было. Может быть, сегодня, а так нередко случается, у его шефа много работы, и он не отпускает отца.

Ну что ж, Гришке не привыкать ложиться спать, когда отца еще нет дома. Но раньше всегда рядом была мама. Сейчас же мальчик совсем один. Только не надо бояться...

В девять, изрядно замерзнув, мальчик слез с подоконника. Пока сидел, в животе не сильно болело, можно было терпеть. А как соскочил на пол, так еще и закололо, да так, что заболели пятки и стало горячо в висках — словно их огонь лизнул. Перед глазами посыпались искры, в голове зашумело, она закружилась, и, чтобы не упасть, мальчик надолго закрыл глаза, а когда открыл — вокруг все качалось... Еле дошел до раскладушки, упал на нее, накрылся ватным одеялом. Вскоре согрелся. Боль немного утихла, холодный камень внутри начинал таять. Гришка свернулся калачиком, подтянул колени к подбородку, и удивительно: внутри совсем перестало колоть, полегчало.

И он вновь, как утром, стал думать, кто же лучше: братик или сестричка? Долго думал, но так ни к чему и не пришел. Незаметно для себя заснул.

...К этому времени его еще безымянной сестричке было ровно десять с половиной часов от роду...

4

На следующий день Николай, водитель служебной машины одного из очень важных в масштабе города и даже района некоего Эдуарда Ивановича, как было велено вчера, без пяти шесть “подал” черную “Волгу” к подъезду дома, в котором тот жил.

Настроение у шофера было — хоть вой: дома сын один, жена в роддоме, а он и не навестил...

Когда поворачивал с улицы во двор, не заметил присыпанный снегом бордюр и наехал на него правым передним колесом. Машину тряхнуло, потом днище “проехало” по бетону — хорошо, что не сорвало глушитель. Николай разочарованно подумал, что ему не повезло с этой добитой колымагой. “Ну, почему шефу не дают новую машину?..” На должности он временно? Простачок? Знают это?.. Да, есть такое, простачок: может загнать при людях матом. Или пройти возле женщин с расстегнутой ширинкой. Может выпить водки больше, чем последний сантехник. Бывает, не обращая ни на кого внимания, может похлопать по заднице свою секретаршу старую холостячку Альбрехтовну.

Конечно, шеф не виноват, что предшественник оставил ему не машину, а настоящую рухлядь. На ней стыдно к какому министерству подъезжать. Сейчас на таких колымагах даже печники не ездят на работу (видел, на чем приезжал к шефу на дачу печник — “мерс”).

Удивительно, но подчиненные Эдуарда Ивановича хорошо отзываются о том человеке, который до него руководил учреждением, — обычно все охивают свое бывшее начальство. Хороший, поэтому и погнали. Да так, что остался вообще без работы. А в наше время без хлеба, как говорят, — труба!.. Это Николай по себе знает.

Поговаривали, что Эдуард Иванович хитростью воссел в кресло предшественника. Общественник: он состоял во всех организациях, которые только могут быть: профсоюзная, рыболовов, общество трезвости и т. д. и т. д. Всегда выступал на собраниях, никогда никого не критиковал, но разносил в пух и прах тех, кто был ниже по должности. Всегда был на виду у начальства, подхалимничал.

Знали, что у Эдуарда Ивановича есть “волосатая” рука — один якобы большой руководитель — друг детства. Эдуард Иванович неожиданно для

всех, “поболтавшись” здесь, в управлении, перешел к тому в помощники. Немного поработал там, вернулся сюда, сменив своего бывшего шефа. Сотрудники недоумевали: что за времена, что за нравы?.. Да этого Эдьку (так они его звали) раньше выгоняли из всех организаций, куда только устраивался: бездельник. А из одного учреждения уволили как “профессионально не пригодного”. И вдруг!..

И все же, наверное, зря так о шефе. Как бы там ни было, Эдуард Иванович все же шишка. Однажды его даже по телевизору показывали! Присутствовал на одном большом совещании: может быть, с полминуты держали в кадре вдумчивое лицо, потом показывали руку — старательно записывал, что говорили умные люди.

Да, неплохо было бы, если бы Эдуарду Ивановичу дали новую машину. Есть у Николая в связи с этим мечта: однажды приехать в свою деревню на хорошей иномарке. Да чтобы на ней красовался маячок радиотелефона.

Вот такое, на первый взгляд, несерьезное желание у Николая. Откуда оно, он пока не задумывался: но уж очень хочется, чтобы один односельчанин увидел, каков сейчас он, Николай. А тот человек — обидчик его давний...

...Николай “подал” машину, как любил шеф, к самому подъезду. Выключил мотор. В салоне тепло. Естественно, он будет ждать шефа столько, сколько потребуется.

Он посмотрел на окно спальни шефа на девятом этаже — темный прямоугольник. И на кухне света нет. Проспал? Шефу можно. Элита. И дом элитный. Впрочем, таких домов тут несколько.

В этих домах живут начальники. Хотя есть и простые люди. Обслуга: сантехники, дворники, лифтеры... И даже некоторые деятели разных искусств, что ли. Те, кто в своих произведениях на то время, когда лет двадцать тому строились эти дома, “достигли наибольшего успеха в отображении бессмертных идей партии”.

В те времена, если ты хотел увидеть какую-нибудь официально признанную величину, нужно было прийти в этот район, лучше вечером, когда начальство возвращается домой. Тогда нередко можно было заметить, как по скверу прохаживается какой-нибудь важный деятель, ожидая, когда к дому завернет машина с властной персоной. Хорошо, если такой деятель прогуливался один — тогда он без препятствий мог оказаться рядом с большим начальником, засвидетельствовать тому свое почтение. Когда деятелю отвечали на приветствие да еще при этом пожимали руку, не говоря уж о том, что вдруг могли похлопать по плечу, он был на седьмом небе от счастья. А если все это видел кто-нибудь из творческих соперников — тем более.

Случалось, что за одним “вождем” “охотились” сразу несколько деятелей. Конечно, нужно было иметь сноровку и хитрость, чтобы успеть первому добежать до него, чтобы убедить: начальство тебя замечает здесь. А если так, то дела твои неплохи. Значит, ты кое на что можешь рассчитывать из партийной кормушки, и деятельность твоя будет оценена иначе, чем у других, пусть даже более талантливых коллег.

Но, как у нас случается, стоит только произойти каким-нибудь переменам, найдется немало людей, ранее зависевших от власти, а сейчас ее охаивающих. Ох, как они начинают поносить своих бывших патронов! Кто-то успевает сориентироваться и быстро занять новые руководящие кресла, кто-то оказывается не у дел, а мир делится на заклятых врагов. (А вчера-то они были сплочены общими идеями!)

Да, дом интересный. И Николай знал, что для шефа было огромным счастьем поселиться именно в нем, именно среди этих людей. Когда Эдуард Иванович получил сюда ордер, не сдержался, поцеловал его и заплакал. А до этого у него была неплохая трехкомнатная квартира, в которой он жил с женой и сыном. Но была-то она не здесь, а где-то в Заводском районе.

Случается, иногда радость у Эдуарда Ивановича омрачается. Обычно, когда к его жене приезжают подруги — жены иных руководителей. Обязательно среди них найдется такая, которой уж очень захочется заметить жене шефа, что она живет на девятом этаже!.. Дескать, какой же твой Эдик

начальник, если вас загнали на самую верхотуру? Настоящие начальники живут низко, но летают высоко.

После жена шефа, Катерина Порфирьевна, товаровед по профессии, клевет своего “полудурка” (ее определение мужа).

— Людей стыдно в гости пригласить: девятый этаж и четыре клеточки! Себе похватили лучшее, а тебе, дураку, дали то, что осталось.

— Хорошо, что хоть такую дали в этом доме. А то могли бы загнать в какую-нибудь Вербовку (микрорайон, в котором Николай снимал квартиру), — говорил шеф.

— Чмо! — плевалась Катерина Порфирьевна, женщина крепкая, в одежде пятьдесят шестого размера. — Чмо! — как эхо вырывалось хлестко из ее горла. — Вон Б. (она называла фамилию) вместе с тобой назначали. И должности одинаковые, а квартиру получил, как человек — на третьем этаже. А его дура мне глаза колет: так кто ж вы такие...

— Ну и пусть! — говорил шеф, посматривая на шофера (разговор-то этот был при Николае). — Всему свое время, и нам дадут. Наверное.

Шеф замолчал. Видимо, не знал, что еще сказать в свое оправдание. Николай же, понимая, что сейчас как раз тот момент, когда можно заступиться за Эдуарда Ивановича (в конце концов, мужчины мы или нет?), осторожно произнес:

— Вы меня, Катерина Порфирьевна, простите, пожалуйста. Может быть, это не мое дело. Но позвольте сказать. Той женщине до вас далеко, а гонору — ого-го!.. Да вы, Катерина Порфирьевна, посмотрите на себя, а потом на нее. Она даже одевается, как самая обыкновенная баба. Завидует она вам, поэтому и несет всякий вздор.

В это время он и сам не мог себе толком объяснить, почему так кривит душой и говорит глупости. Рассчитывал в подсознании, что это ему зачтется.

Катерина Порфирьевна, дорого и неряшливо одетая, всегда сидела рядом с водителем. После такой речи Николая она расправляла и без того широкие плечи, всем грузным телом пыталась тянуться к зеркалу над ветровым стеклом. Лицо ее в зеркало не помещалось. Катерина Порфирьевна рассматривала себя в нем долго и по частям. А шеф, воспользовавшись моментом, осмелев, шел в наступление:

— Катюшка, послушай, что человек говорит: кто она против тебя?

— Сама вижу, — налюбовавшись собой, говорила Катерина Порфирьевна. — Действительно, кто она такая? Буфетчица!

Николай же понимал, что он должен был и дальше петь ей дифирамбы, продолжал:

— И на Эдуарда Ивановича посмотрите. А потом на ее, как она говорит, начальника (последнее слово он произносил ухмыляясь, дескать, настоящим руководителем ее муж никогда не будет).

Женщина тяжело поворачивалась, свысока изучающе посматривала на мужа, словно видела его впервые. Тот вытягивался, замирал: смотри!

— Ну, кто таков тот, я знаю, — говорила Катерина Порфирьевна. — А мой... Если бы не свой, то сказала бы, что ничего себе. Даже красивый. Да, самостоятельный мужчина, похож на настоящего руководителя: и шляпа, и галстук, и бостоновый костюм — я же сама ему одежду подбираю. Разве такой охламон сам что может?

— О! — восклицал Николай. — Сами видите, кто есть что. Да вы, Катерина Порфирьевна, как-то ей честь оказали — пригласили в машину (было, вез). Ладно, села. Увидела радиотелефон и сразу: “Ой, да такой, как в фильме “Укрощения огня”. Помнишь, Катя, там главный конструктор едет и говорит своей крале, мол, хочешь, я сейчас прямо из машины позвоню. Может быть, двадцать лет прошло, как фильм тот видела, а все думала: неужто так может быть, чтобы прямо из машины звонить? Оказывается, может. А у моего в машине телефона такого нет...” Так что, как говорят, здесь и дураку будет понятно, кто какой начальник — ее муж или Эдуард Иванович.

— Да, Коля (так она называла его тогда, когда говорил то, что ей нравилось), и я заметила: как она села ко мне в машину, так глаза на лоб полезли. Ну, думаю, сука, сейчас я тебе покажу, у кого муж настоящий на-

чальник, а у кого — замухрышка. Помнишь, Коля, говорю: “Какой тебе номер набрать?”

— Помню, помню, Катерина Порфирьевна. Набрали, трубку взяла и говорит своему: “Я тебе из машины Эдика звоню...” Да так растерянно, будто сама себе не верит, и больше ничего не может сказать.

— Да, да, так и было, за-ко-ло-ло ей в задницу, что у ее мужа такого нет, — засмеялась Катерина Порфирьевна. — Вот так...

Она вновь расслаблялась на сиденье, изображение частей ее лица исчезало из зеркала. И Николай, посматривая в него, видел, как шеф, сидя за женой, осторожно улыбался:

— Слышишь, Катюшк, что говорит человек?

Да, второй раз шеф называл шофера человеком — редкая награда от руководителя за время Николаевой работы. Ну что ж, всякое может случиться: а вдруг Эдуарда Ивановича оставят в его должности и когда-нибудь в учреждении вспомнят, что здесь немало людей, не имеющих жилья, да задумаются об этом? Смотришь, и Николай попадет в какие-нибудь списки на получение квартиры. А вообще-то нет, не второй раз назвал человеком, третий. В этот день дважды, а первый раз осенью, когда ездили на шефову дачу. Катерина Порфирьевна все пилила мужа: “Делай скорее камин! У всех есть, а у нас — нет. У нас в полу дыра, как для туалета”. — “Делай. А как, если дач — тысячи, а печников — единицы?”

В конце концов где-то нашел печника. Тот приехал на довольно новом “Мерседесе”. Презрительно посмотрел на их “Волгу”. Потом походил, сделал замеры — готовь материал, звони через неделю. Сел в иномарку — только его и видели.

Через неделю Катерина Порфирьевна звонит из машины печнику домой. Кому-то, кто поднял трубку, говорит, мол, так и так... Затем лицо ее наливается краской, она растерянно называет свою фамилию, губы ее дрожат, вдруг бросает трубку.

Шеф:

— Катеринчик, что с тобой, дорогая?

Катеринчик:

— Да та дура спрашивает фамилию, а потом говорит, что надо еще посмотреть, есть ли мы в списке. Представляешь? Ты у какого-то печника должен быть в списках!.. Дожили! Да раньше, сам знаешь, чтобы купить кофточку или юбку, заходили, постучав, ко мне на склад жены чуть ли не самих министров... А теперь...

Николай видел, как шеф сжался, убрал голову в плечи, словно знал, что вот-вот на него обрушатся гром и молния. Видел, как на лице женщины собиралась гроза: губы ее нервно задрожали, посинели, редкие белые брови сломались, глаза помутнели. Но в то мгновение, когда гроза уже должна была разразиться, шофер совсем осмелел:

— Бросьте вы, Катерина Порфирьевна, обращать на всяких внимание. Правильно говорите: “Дожили!” Дураков сейчас много развелось, каждый норовит показать себя большим и важным. Пройдет это, вот увидите, скоро все станет на свои места. Вишь, печник список завел, а она посмотрит... Это еще надо посмотреть, как все обернется. Да стоит Эдуарду Ивановичу пальцем только пошевелить, как завтра же тысячу раз того обалдуя на дороге проверят!

— Слушай, Катеринчик, что человек говорит, — осмелел шеф. — Список! Да я своим ребятам только шепну, так не рад будет, что узнал, кто такой!.. (Шеф назвал свою фамилию.)

Конечно, это было смешно: никто по шефовой указке к печнику придираться не будет, да и не такая Эдуард Иванович шишка, чтобы отдавать такие распоряжения.

Поговорили, поважничали, а камин на даче у шефа и по сей день нет. Тогда Николай понял, что у его начальника бывают такие семейные ситуации, когда ему нужно сочувствие, пусть даже шофера. И если Николай иногда по-своему защищает шефа от нападков жены, так что здесь плохо?

Впрочем, шофер уже неплохо изучил своего шефа. Знает, что и как в чиновничьем мире. Случается, когда шеф в настроении, может многое рассказать о своих коллегах.

Эдуард Иванович любит просматривать газеты. Но читает в них только официальные сообщения: назначения, отставки, интервью бывших и новых руководителей.

Если в какой газете вычитает, что его знакомого назначили на новую, более высокую должность, злорадствует:

— Вот сейчас мы и начнем тебя отслеживать! Вишь, должность — ему!.. Посмотрим, посмотрим, как долго ты на ней удержишься. Здесь, брат, нужно иметь голову не такую, как у тебя. Так что давай, давай!..

Николай знает, что означает “отслеживать”. Шеф ждет, когда его знакомый, новоиспеченный начальник, начнет давать газетам интервью и где-нибудь скажет глупость и таким образом сам себя выставит на посмешище.

И в самом деле, случается, чего только не обещают, заранее зная, что ничего этого не сделают. Тогда шеф радуется еще больше:

— Вот дурачок!.. Неужели не понимает, что рано или поздно нужно будет за все отчитаться?

Как ни удивительно, но здесь шеф был прав. Случалось, открывает газету и кричит, как мальчишка:

— Ну вот, докукарекался. Я так и знал!

В такие минуты Эдуард Иванович почему-то звонил не жене, чтобы сообщить приятнейшую для себя новость, а своей секретарше, Альбрехтовне.

— Дорогая, ты слышала, Н. (шеф называл фамилию) спекся!

Наверное, “дорогая” уже слышала, ибо шеф долго молчал, держа трубку возле уха и время от времени согласно кивал головой. Когда клал трубку, говорил то ли шоферу, то ли себе:

— Конечно, бабеха она неглупая, что, впрочем, для женщины не так уж и плохо. Но опасная: много знает. Но и мы не лыком шиты, знаем, знаем, с кем, где и когда...

Альбрехтовна считалась секретарем-референтом шефа, хотя по штатному расписанию такой должности в учреждении не было. Говорили, что эту не известную никому женщину Эдуард Иванович взял на работу сразу же, как только его назначили начальником. Сплетничали, будто она — шефова подруга еще с армии, где он несколько лет служил прапорщиком, кажется, на каком-то вещевом складе. Она, вольнонаемная, была у него в подчинении.

Сплетням Николай не верил. Во всяком случае, он никогда не подвозил шефа к ее дому. Женщина одинокая — это так. Николай иногда приезжал к ней, заносил в квартиру покупки. Видел: живет в однокомнатной квартирке, где, кажется, мужчиной совсем не “пахнет”. Правда, как-то заметил за дверью в ванной точно такой халат, как однажды они кушили шефу, — мало ли совпадений. А так повсеместно по квартире были разбросаны женские принадлежности, пахло духами и кошачьей мочой. У Альбрехтовны был очень дорогой кот Мартин, к которому время от времени Николай привозил ветеринара.

Альбрехтовна — женщина своеобразная. Николай знал, а сотрудники, наверное, догадывались: шастая по кабинетам, она запоминала все, что те говорили об учреждении и шефе, и доносила ему. И вообще она хотела Николая сделать своим осведомителем, ссылаясь на то, что здесь у нее и у шефа хватает недоброжелателей, от которых нужно избавляться. Пусть так, но когда она однажды спросила у него, не скажет ли он ей, что о ней говорит шеф, опешил:

— Что говорит? Говорит: “Наша Альбрехтовна — умница!” Говорит, что вы ему очень помогаете.

— А как о женщине?

— Ничего.

— Не врешь?

— Как можно?

— Вообще-то, он без меня — никуда. Однако же, собака, не знает, что сказать обо мне как о женщине. Вроде я и не женщина, Николай?

— Это почему же? — удивился он, словно ничего не понял. — Еще какая! Но, наверное, Эдуард Иванович прежде всего видит в вас умницу, помощницу.

На этом их разговор прекратился. Татьяна Альбрехтовна сказала:

— Смотри, скажешь ему о нашем разговоре, мало тебе не покажется.

— Ну что вы...

И шеф часто спрашивал у него, что о нем говорят люди. Николай отвечал, что не знает, так как ни с кем не общается.

5

Вчера эта женщина хорошо испортила нервы Николаю. Шефа он отвозил домой поздно: тот очень долго сидел в своем кабинете. Как всегда, выходя из машины, Эдуард Иванович на завтра никакого задания не дал, потянулся к подъезду, насушенный, как сыч. Николай понял, что за сыном уже нет смысла ехать да и к роддому тоже: скоро полночь. Он решил заехать в дежурный гастроном, чтобы купить пару бутылок водки, закуски. Намеревался как-то угостить ребят из гаража: дочь родилась. Что дочь, он знал еще днем, звонил в роддом.

Только повернул к стоянке возле гастронома — в машину звонок. Николай не хотел снимать трубку, шеф же — дома, а поздно он никогда не звонит, но снял. Еле сдерживая себя, сказал:

— Да, слушаю...

— Что такое: “Да, слушаю”? — услышал раздраженный голос Альбрехтовны. — Я тебе что?.. Надо говорить: “Слушаю вас...”

— Задумался. Весь по уши в заботах: у меня дочь родилась и сынишка один дома.

— Вы что, с ума посходили? — сказала Альбрехтовна. — Ни кола ни двора, а они все рожают!

— А вот это уже — не ваше дело!

— Но, но!.. Хорошенько подумали б с женой, как жить будете, прежде чем рожать. Ладно. Помой машину, и завтра без пяти шесть подашь ее Эдику. Да смотри не опоздай: будете встречать большого человека.

Не было ничего странного в том, что об этом ему не сказал шеф. У того какая-то непонятная особенность: везешь домой — ничего о планах на завтра не скажет. А вот едешь в гараж, обязательно позвонит секретарь и даст задание. Это что, для важности? Кто их, начальников, разберет...

После такого разговора — какой гастроном? Нужно скорее ехать в гараж, помыть машину, поставить, успеть на автобус, затем в метро и снова на автобус, и ты — дома...

Говорит, большого человека будут встречать. Не Владимира Трофимовича ли? Руководитель. Из одного провинциального городка. Человек хороший. Правда, иной раз уж очень хулиганистый. Но ничего, характер у него такой, веселый.

...И вот, ожидая шефа, Николай думал, что хорошо будет, если придет-ся его сегодня возить. А может, и не придется. Николай скажет Владимиру Трофимовичу, что у него родилась дочь, и тот, конечно же, отпустит его, чтобы ехал к жене: мол, обойдемся без тебя. Может быть, даже даст долларов десять-двадцать на подарок малышке. Гость — такой, он может. Этот умеет поздравить по-человечески с праздником (перед Новым годом подарил бутылку коньяка). А вот свое начальство даже не догадывается, что человека можно поздравить хотя бы на словах...

Когда первый раз встречали Владимира Трофимовича, шеф почему-то предупредил, что это его старинный друг из района, тоже начальник, но человек веселый, на что он, шофер, не должен никак реагировать. И еще предупредил, чтобы Николай ничего не говорил гостю об Альбрехтовне.

Тогда было морозное утро. Приехали на привокзальную площадь, а там машин — негде пристать. Николай рискнул, обехал по тротуару ограждение — бетонные плиты (вокзал реконструировался или достраивался), подрылся поближе к подземному переходу: отсюда выход — как на ладони.

Шеф, конечно, видел, что шофер нарушил правила движения, но промолчал, вышел из машины.

“Если подойдет милиционер, скажу, что встречаю наших московских друзей, — подумал Николай, — прости”.

Он видел, как удаляется от машины шеф — одновременно желая показать, какой он важный, и боясь опоздать: сначала, не торопясь, сделает несколько шагов вперед, а потом срывается с места, почти бежит. Вскоре его широкая спина в коричневом кожаном пальто и шикарная пыжиковая шапка затерялись в толпе.

Николай тогда не заметил, как шеф и его гость вынырнули из толпы. Когда увидел, растерялся: гость был в короткой матерчатой, расстегнутой курточке. Из-под нее выбивалась помятая белая рубашка. На шее — неопрятно повязанный цветастый галстук. И брюки помяты. На ногах — осенние туфли. А голова непокрытая, лысая.

В левой руке гость держал дорогой кейс. И когда они приблизились к машине, Николай еще раз внимательно осмотрел приезжего: неужели этот охламон начальник? Хотя, конечно, облик может быть обманчив.

Вблизи было видно, как блестит непокрытая голова гостя. От правого к левому уху через плешь зачесано несколько рыжих крашенных волос. На этом, можно сказать, пустом фоне в глаза бросались черные, тоже выкрашенные усы, покрытые по краям инеем. Взгляд гостя был печальный, под глазами мешки — болят почки, что ли? И вместе с тем через печаль пробиравалась слабая улыбка: усы то растягивались до ушей, то сжимались. Эдуард Иванович рядом с этим великаном казался колобком.

Когда подошли к машине, шеф попытался учтиво открыть гостю заднюю дверку, но тот грубо оттолкнул Эдуарда Ивановича, нервно рванул на себя ручку, напустил в салон холода. “Хозяин!” — подумал шофер. А тот безразлично бросил на сиденье кейс, потом всунулся сам и, расположившись за водителем, неожиданно ткнул Николаю руку:

— Владимир Трофимович. Старый друг твоего патрона.

Пока проговорил эту фразу, в салоне запотело стекло, в нос ударило тяжелым перегаром.

Николай растерялся. Сколько возил начальников, никто никогда не подавал ему руку: велика честь!

Слабо отвечая на довольно мощное пожатие холодной костлявой руки, он представился:

— Николай.

— Тогда я Володя, — засмеялся гость. — Безотцовщина, что ли?

— Да нет, отца Ильей звали.

— Тогда ладушки, — гость резко выдернул руку и, пока шеф, сопя, размещался рядом, бросил: — Вот что я тебе скажу, Ильич. Вези-ка нас быстрее туда, где можно согреться, — и никакого бутерброда! Дрожу, да и голова разламывается, как у того профессора, что праздновал с прапорщиком.

— Это еще какой такой профессор, и что за прапорщик? — насторожился шеф. — Может, про меня хочешь сморозить какую глупость?

— Да нет, — засмеялся Владимир Трофимович. — Есть такой анекдот. Пили они вместе. Наутро у профессора голова болит, а у прапорщика — нет. Когда профессор пожаловался об этом прапорщику, тот удивился: “Разве кость может болеть?”

Николай понял, что надо гостю. Обрадовался, нагнулся к “бардачку”, достал бутылку “Кристалла”, артистически взболтнул перед его носом.

— Ну, Эдик, молодец! Такого от тебя с утра я не ожидал. А не боишься, что окосею и все пойдет коту под хвост?

— Почему же? Боюсь, — словно огрызнулся шеф. — Но если ты сейчас не выпьешь, так будешь где-нибудь искать. Лучше уж здесь.

Николай видел, что шеф будто вырос от похвалы гостя. Он даже распрямил плечи, важно кашлянул в кулак. Шофер тоже был рад. Даже подумал, что можно рассчитывать на премию. А что? Шефа выручил. А вообще-то шеф скупой. За свои никогда не пьет. Знал, кого встречает, мог бы взять из дома.

Гость жадно схватил бутылку. Одним поворотом сбросил винтовую пробку. Николай чуть успел подать запотевшую посудину, задребезжало стекло о стекло, забулькала жидкость — половина стакана. И, не ожидая, пока шофер достанет что закусить, гость резко вбросил в широко раскрытый рот водку. И почти сразу же по его худой шее, по лицу, выдавливая из кожи нездоровую бледность, поползла краснота — ожил человек!

Николай также заметил, что шеф не обратил особого внимания на штучки гостя, наверное, хорошо их знал. Но когда через минуту Владимир Трофимович, не открывая глаз, протянул Эдуарду Ивановичу одной рукой бутылку, а другой стакан, шеф быстро спрятал поллитровку в нагрудный карман пальто, а посудину подал шоферу:

— Спрячь!

Николай спрятал все в “бардачок”. Он не знал: ехать или подождать, пока Владимир Трофимович полностью придет в себя. Тем временем от перехода к машине, тяжело ступая, шел милиционер. Был он в больших валенках, длинном, почти до пят, кожухе.

Сейчас гостю сидеть бы тихо, но он вдруг заорал:

— Эдик!.. Мой молодой генерал! Как говорил поэт: “В нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше...” А помнишь, какими мы с тобой некогда молодцами были? Ты — прапорщиком на вещевом складе, а я — боевым лейтенантом?.. Я — что, я Афган прошел, а ты... — Владимир Трофимович начал злиться.

— Володя, брось. Зачем сейчас об этом? Все прошло. Мало ли что может шофер подумать, не шути зря.

— Ладно, Эдик, молчу, молчу. Сейчас до того, что было с нами, никому нет дела.

Гость смолк. Наверное, думал о чем-то своем, если еще был способен думать.

Милиционер, не доходя шага три до машины, остановился. Он внимательно посмотрел на нее. Его взгляд встретился с взглядом Николая. Милиционер погрозил ему пальцем, что, вероятно, означало — нарушение, братец. Потом постучал им по левому рукаву кожуха (часы), ткнул вверх, дескать, даю минуту.

Николай сначала в знак согласия кивнул головой, пожал плечами, потом развел руками: мол, я — подчиненный. Затем, показывая, что безоговорочно подчиняется милиционеру (службу уважаю), тоже поднял палец вверх — одна минута — и скрестил перед собой руки — уезжаю!..

Сейчас уже милиционер кивнул головой: хорошо.

— Да, поэт был прав, — вновь оживился Владимир Трофимович. — А прав в том, что сейчас и жить хорошо, и жизнь хороша! Ничего не скажешь. — Он погладил живот, помолчал, потом добавил: — Ты согласен со мной, Эдик?

— Какой еще поэт? — сдерживая себя, спросил Эдуард Иванович. — Юзя, что ли? Володя, ты знаешь Юзю-поэта? Откуда? Я же вас еще не знакомил. Он сам до тебя дошел? Это на Юзю похоже. Я всегда говорю, что такой талант не пропадет, даже в наше гиблое время. А как он хорошо пишет, послушай: “Юзя с Эдей пиво пьют, пиво пьют и никому не дают”. Талант, а?!

— Большо-о-й!.. — поморщился гость. — Талантливей не бывает. Только никакого Юзи я не знаю. А то, что я читал, написал один трибун. А что, Юзя хороший парень?

— Володя, не то слово! Сам увидишь. Я вас познакомлю, — почему-то обрадовался шеф. — Только не везет ему: наверное, десять книг написал, а никто не печатает. Говорят, спонсора ищи.

— Так дай ему денег, если талант.

— Дай, — развел руками шеф. — А как я их оформлю? На какие нужды? Я не могу. А ты — можешь. Ты — хозяин у себя на месте. А я...

— Хозяин. Так уж. Хотя можно подумать. Я... — гость не договорил, шеф неожиданно дернул его за рукав:

— Милиционер!

— Милиционер? — будто удивился Владимир Трофимович. — А ты со мной ничего не бойся. Помнишь, как мы с тобой гоняли из-за границы тачки, и ты рэкету на дорогах фиги показывал?.. Не боялся же, а те ребяташки и стрельнуть могли.

— Так ты же за рулем был, — сказал шеф.

— Впрочем, тот же поэт писал: “Моя милиция меня бережет...” — сказал гость и вдруг спросил: — Ты власть али нет?

Шеф не ответил. Он зло, как барин извозчика, ткнул шофера рукой в спину:

— Трогай!..

6

В тот день гость больше не пил. Они ездили по городу по неизвестным Николаю делам. Сначала навещали разные непонятные Николаю фирмы, где гость задерживался подолгу. Шеф же все время сидел в машине и почему-то с опаской посматривал по сторонам, и когда вдруг рядом останавливалась какая-нибудь неизвестная машина, нервно вздрагивал.

Гость уходил молча и возвращался молча. Правда, иногда подмигивал шефу: все в порядке. Тогда Эдуард Иванович нехотя улыбался.

Ездили они также и по частным адресам. Но на квартиры гость шел уже без кейса, оставлял его в машине.

За целый день ни из машины, ни в машину звонков не было: шеф еще на вокзале отключил телефон. Это не удивило Николая: наверное, друзья знали, что где-то там, куда идут радиоволны, могут слышать то, о чем говорится в машине. Но они же ни о чем крамольном не говорили, ни о каких делах.

Шофер заметил, что его патрон, когда гость вспоминает их прежнюю жизнь, настаораживается, поднимает палец, предупреждая, чтобы друг часом не сболтнул лишнего. Они, что, гостайны выдают? Водитель и так знает весь послужной список своего начальника: и прапорщик, и учитель труда, и инженер-снабженец, и чей-то помощник, а сейчас — хоть и не ахти какой, а руководитель! С шефом все ясно. А вот его друг, видимо, никакой не руководитель, а просто коммерсант. Хотя может быть, что он одновременно и руководит, и занимается коммерцией. Вот почему шеф такой осторожный — осенило тогда Николая, — чиновникам нельзя одновременно заниматься бизнесом и руководить!..

Случалось, разные начальники протирали сиденья Николаевой машины, но самый загадочный из них — Владимир Трофимович. Вообще-то интересно наблюдать за всеми друзьями Эдуарда Ивановича. Особенно, когда кто-нибудь из них начинает мнить себя чуть ли не властелином мира. Тогда, входя в роль, он важно откидывается на спинку сиденья, пыхтит, крепко держится рукой за поручень, посматривает в окно с высокомерной леню, свысока — сама мудрость и сила!

Иногда Николаю кажется, что такие люди словно вылеплены из одного теста. Да и на лицах их одни и те же маски — важность! Конечно, это не так, похожих людей нет. Хотя должность накладывает на человека свой отпечаток. А вот Владимир Трофимович не такой. И к шоферу обращается не иначе как “Ильич”...

Ближе к вечеру гость вспомнил, что целый день не ели. Сказал, что неплохо бы закусить.

— Давно пора! — обрадовался шеф. — Горло промочим. Тем более, я тебе, Володя, по этой части сюрприз подготовил. И знаешь, где? У костра. На природе — прелесть. Водочка холодная, рыбка речная, рыбка озерная, рыбка морская.

— Ну да? — не поверил гость.

— К Юзику! — приказал шеф.

— К твоему поэту, что ли? — спросил Владимир Трофимович и добавил: — Почему не знаю? У меня же знакомых — от Москвы до самых до окраин: дворники, проститутки, министры, генералы — и ни одного поэта. Интересно, интересно... — И он почему-то засмеялся.

Николай знал, где живет Юзя, шефов родственник.

Когда миновали пятиэтажный дом, украшенный множеством мемориальных досок, свидетельствующих, что здесь когда-то жило немало знаменитых людей, повернули во двор. Здесь их и должен был ждать Юзя. Он считал себя гением и, чтобы быть поближе к знаменитостям, пусть даже уже ушедшим из жизни, поменял свою большую квартиру на окраине города на меньшую в этом доме. Кроме того, Юзя заказал гипсовую доску, на которой было написано, что в этом доме живет поэт Юзафин К., правда, держал ее в квартире — приколотил к стенке в прихожей.

Николай не ошибся: поэт Юзик К. ждал их во дворе. Николай знал, что этот холостяк редко приглашал к себе в квартиру, в сортир, как говорил шеф (вечно не убрано), посторонних людей. Он сидел в старой, насквозь продуваемой беседке и был похож на брошенного на произвол судьбы пьяницу. Облезлый, изъеденный молью, приукрашенный инеем каракулевый воротник его пальто был поднят. На голове, втянутой в плечи, — тоже побитая молью заячья шапка. Чтобы хоть-то как согреться, Юзя, словно заведенный, хлопал в ладоши и молотил ногами по деревянному полу беседки. Рядом на скамейке стоял его знаменитый огромный портфель, с которым он никогда не расставался.

Окоченевший от холода поэт даже не заметил, как к беседке подкатила машина. Николай остановился рядом, коротко просигналил. Юзя, словно его укололи, подскочил с места, потом схватил свой портфель, бросился к машине.

Когда он, ввалившись в салон, упал на сиденье рядом с Николаем и судорожно непослушными губами промямлил "...астутя...", Владимир Трофимович, глянув на него, некстати засмеялся: "Ну, брат, ты словно пленный немец..."

Николай удивился такому бездушию гостя. Видимо, Юзя ждал их с самого утра. Впрочем, если им он нужен, то Эдуард Иванович должен был предупредить его, когда примерно они за ним приедут. Наверное, Юзя с самого утра ожидал их. Телефона у него не было, — видимо, боялся, что приедут во двор, а его нет, разозлятся и уедут. Такое уже однажды было: как-то явились сюда с одним гостем, а Юзи — нет. Шеф сказал, чтобы подождали в машине, дескать, я схожу за ним. Гость взревел:

— Я тебе, что, мальчишка? Хочешь угостить, так угощай, а не вози по всяким закоулкам да к каким-то неизвестным мне поэтам. Поехали!

— Возьмем на вооружение, — пролепетал тогда шеф.

Не исключено, что после этого Юзя получил указание ждать гостей на улице.

Николай отметил про себя, что ни один, ни другой руки Юзе не подали. Хотя сейчас это ему было не нужно: Юзя поставил на колени свой объемистый портфель, простуженно захлопал носом, застучал зубами.

Николай знал, что у Юзи в портфеле, как всегда, рыбные деликатесы. Откуда они у поэта, можно было только догадываться: раньше Юзя, когда еще не возомнил себя поэтом, работал в одной организации, занимавшейся то ли торговлей, то ли разведением рыбы, и там у него остались друзья (он окончил биофак университета). Они и подбрасывали Юзе по дешевке рыб-продукцию: тот нигде не работал, потихоньку приторговывал рыбой и писал стихи. Говорили, что поэтический талант Юзи то ли спьяну, то ли искренне открыл один начальник, которому Юзя на юбилей написал поздравительные стихи и прочитал их в учреждении во время чествования юбиляра. Тот прослезился, обнял и поцеловал Юзю взасос, как это раньше было принято в Политбюро, сказал, чтобы товарищи берегли Юзю, ибо всякий талант — народное достояние. Юзя уверовал в свой дар: не может же начальство сказать глупость!..

Николай видел, что гость пристально рассматривает Юзю. Как только выехали со двора, Владимир Трофимович заметил:

— Переслужился человек, случается. Такие служаки нужны. А как же?

Шутка ли здесь была, или издевка, Николай не понял. Но он знал, что Юзя не простой человек. А портфель с рыбой — неотъемлемая часть его образа. Куда бы он ни шел (ребята смеялись, однажды даже на правительственный концерт — шеф отдал свое приглашение), везде нес с собой портфель, набитый сырой, вяленой, соленой рыбой. Но просто так Юзя никого не угощал. Обычно, если видел, что ошибся и угощает не того, кто ему нужен, Юзя, как человек воспитанный, сразу виду не подавал и денег не требовал. Но через некоторое время он находил того человека в какой-нибудь компании или в учреждении и прилюдно осторожно дотрагивался рукой до его плеча, напоминал:

— Уважаемый, вы забыли, что до сих пор так и не рассчитались со мной за две вяленые плотки и спинку леща? Забыли... Ничего, бывает. Если сейчас денег нет, я подожду.

Как мог себя чувствовать при этом “должник”?..

То были времена, когда везде всего не хватало. И рыба из Юзиного портфеля была той своеобразной искусительной наживкой, на которую при разных обстоятельствах клевали многие нужные ему люди, среди них — далеко не простые. Однажды один старый литератор, весельчак и добряк, этакая щедрая душа, в своей статье назвал Юзю белорусским Пушкиным. Потом Юзя носился с этой газетой по всем известным ему учреждениям. Он заставлял людей читать то высказывание писателя о нем. Одни смеялись, зная настоящую ценность его “поэзии”, другие недоумевали: неужели этот прохиндей — талант? Ну и дела...

Дела-то, конечно, дела, но в то время ясно вырисовывались методы разрушения литературы: один из них — сами писатели разрешили приближаться к ней тем, кому по своей сущности заниматься литературой было противопоказано...

Сейчас, когда Юзя был в машине, Николаю стало жаль Владимира Трофимовича: и его этот прохвост заманит вонючей рыбешкой. Кроме того — гость не дурак выпить, так что поэт, как говорят, съест его с потрохами и не облизнется. А это означает, что он поживится деньгами Владимира Трофимовича, — судя по всему, они у него водятся.

Николай подумал, что они сразу, как бывает в таких случаях, поедут в лес. Там у них есть давно “обжитое” место, где можно, никого не опасаясь, выпить водки, поболтать. Но шеф сказал, что сначала надо заехать на Сельхозпоселок — старый район города, — там их ждет машина Владимира Трофимовича, пришедшая еще позавчера.

Николаю это показалось странным. Приехали в Сельхозпоселок. Владимир Трофимович приказал остановиться возле какого-то деревянного двухэтажного дома, огороженного плотным забором, из-за которого были видны крыши нескольких иномарок. Возле дома на улице стоял “уазик”. Оказалось, что это и есть машина гостя.

Владимир Трофимович из “Волги” не вышел. Наоборот, из “уазика”, увидев Николаеву машину, выскочил пожилой водитель и подбежал к “Волге”. Владимир Трофимович открыл окно, водитель сказал ему только одно слово: “Выполнено”.

Николаю приказали ехать туда, куда собрались. Он тронул с места. За ним — “уазик”.

По дороге Владимир Трофимович будто вскользь сказал шефу, что сейчас за границей есть телефоны — сотовые называются, очень удобная и надежная связь. Вскоре они и у нас будут, тогда жить станет легче: достал из кармана телефон, набрал номер — говори. Шеф не поверил: возможно ли такое? Гость сказал, что вообще-то уже кое у кого и у нас есть, сам видел.

Представить это было не так уж и сложно: есть же телефон в машине, так почему не может быть в кармане? Но вряд ли это будет хорошо: нигде ни от кого не спрячешься, если так, в том же лесу, куда едут: жена шефа может позвонить, друзья, начальство...

Николай всегда, когда привозил шефа и его друзей сюда, в лес, знал свое место: сидеть в машине, поглядывать вокруг, чтобы никто непрошенный не помешал, да ждать, пока господа выпьют и закусят.

Обычно гулянье начиналось с того, что на разостланную на земле клеенку (она всегда в багажнике) раскладывали еду. Это потом уже, когда разгорится костер, шеф и гость говорили о работе, начальстве, размышляли о том, как бы они руководили отраслью, а то и страной, если бы занимали соответствующие должности. Чаще всего гуляли до полуночи. Случалось, допивались до того, что шоферу приходилось выходить из машины и шарить по кустам, чтобы не забыли кого: замерзнет же человек! А если кто, изрядно выпив, не мог держаться на ногах, друзья смеялись: “Слабак!..”

Потом Николай развозил всех туда, куда кому было нужно. Последним вез домой шефа.

Когда приходилось после гулянья убирать полянку, нередко находил недоеденное, а вот чтобы недопитое — никогда. Хотя на завтра шеф мог спросить, не осталась ли “горючка”. Если же Николай говорил, что не осталась, шеф очень злился. Николай тут же доставал что-нибудь из своих запасов — нужно было у начальника снимать депрессию.

Хорошо, что он не пренебрегал ни дешевым вином, ни сахарным самогонном. Самогонном снабжала Николая интеллигентная Артимоновна — ей его для натирания спины привозила подруга из села, с которой она когда-то училась в институте. Подруга не скупилась, наверное, этого добра у нее было хоть залейся, и Артимоновна если уж давала, так трехлитровую банку.

Но раньше шеф никогда не приглашал с собой в лес Юзю: возьмет у него во дворе портфель и — будь здоров!

Вообще-то Юзя — личность удивительная. Попробуй пойми: он на самом деле такой или прикидывается? Ребята говорят, что Юзя — графоман, каких не сыскать. Но тогда непонятно, почему известный писатель сравнивал его с Пушкиным? Пошутил? Но как бы там ни было, простые люди верят тому, что пишут в газетах.

Николаю непонятно, почему человеку хочется, чтобы его называли поэтом. Тем более сейчас, когда писатели как растворились, будто их и нет. Да и живут они — не очень. Николай как-то вез Юзю и одного поэта в писательский бар. Оказалось, что поэт тот настоящий! Садясь в машину, он назвал свою фамилию: мать честная! Это же песни на его стихи часто звучат по радио. Юзя требовал, чтобы поэт переписал какой-то его стишок так, чтобы его можно было напечатать в журнале. Поэт отвечал, что никогда и ни за какие деньги не будет переписывать стихи за бездарность.

— Но меня вся республика читает! — орал Юзя, сунув под нос поэту какую-то районную газету. — Вот, смотри!

— Говорили мне, что ты на ксероксе в сотнях экземпляров откатал какой-то свой стишок и разослал его по всем газетам, какие только есть. Где-то даже печатают. Смотри, попадешь в Книгу рекордов Гиннеса.

— И попаду! — грозился Юзя, явно не понимая иронии.

— Литература должна быть совестью, — высокомерно пытался образумить Юзю поэт. — В ней должна быть хотя бы элементарная этика.

— Плевал я на твою совесть и этику! — кричал Юзя. — Мне отовсюду гонорары шлют. Назови хоть одного поэта, чтобы его стихи везде печатали!

Поэт не назвал. Он застонал. Затем вновь попытался что-то говорить о совести, но Юзя не слушал его, пригрозил:

— Да я вашу культуру и этику давно кушил! И тебя, дурачок. А ты и не заметил. Вы все падки на мою рыбку. Подожди, еще подо мной ходить будешь, вот стану большим начальником, тогда узнаешь!.. — вдруг успокоился Юзя.

— В этом мире все может быть, — ответил поэт. — А вообще-то, скажу тебе, полуколлега, имел основания наш земляк, великий Достоевский, когда о таких, как ты, сказал следующее... — Он на минуту смолк, прикрыл глаза, вспоминая. — Да, дословно Федор Михайлович сказал так: “Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете брать билет, чтобы показать вам свою власть...” Так и ты, дорогой мой друг, дай тебе только какую-нибудь должностную, и неважно где, но ее, ты и ее...

— Издевайся, издевайся, — не обиделся Юзя, — я давно привык ко всяким издевкам, и они меня не волнуют. Они — от вашего бессилия передо мной. Так что стишок ты мой перепишешь, и под ним будет стоять мое имя. Пройдет время, и ты будешь радоваться, что когда-то мне помогал. Будешь подолгу ждать, когда я тебя приму в своем кабинете. Вот увидишь.

— Ты — сможешь. Только знай, с голоду подыхать буду, а к таким, как ты, в услужение не пойду!

— Ну, смотри...

Разговор был вроде серьезный и несерьезный. Николаю было ясно одно: что-то вокруг не так.

И еще он думал о том, что как ни противится песенник, а Юзя давно его захомутал. Вместе они не впервой. И ругаются не первый раз. Часто, когда шеф давал Юзе машину для поездок по организациям по каким-то своим, Юзиным, делам, тот брал с собой поэта.

Юзя всегда садился рядом с Николаем, держа в руках свой провонявший рыбой портфель.

Из машины Юзя любил звонить в организации и учреждения. Обычно он представлялся сотрудником какой-нибудь газеты или журнала. Должностью называл, как понимал Николай, не самую большую: заведующий отделом, специальный корреспондент. И словно между прочим замечал тому, с кем разговаривал, что звонит прямо из своей служебной машины. Просил, например, будто для журнала “Малодосць”, три килограмма дешевых дрожжей, мешок крупы для “Польмя”, сахар для “Л Ма”, кирпич для какой-то газеты (в то время все это было страшным дефицитом). Но более всего Юзя любил выпрашивать в каком-то магазине дешевых кур, и не штуками, а ящиками. Кур, правда, уже не для редакции, а якобы для учреждения, которым руководил шеф.

Но в учреждении и в редакциях никто эти дефицитные товары и продукты не видел. Те люди, что давали их Юзе, наверное, считали, что в редакциях и в организациях, для которых якобы Юзя доставал продукты, — крохоборы.

Как-то песенник попросил Юзю, чтобы тот дал ему курицу в долг, Юзя обрадовался:

— А фигушки! Ты мне и так должен, как земля колхозу. Не дам! Заработай.

— Ну, погоди! — сказал песенник. — Вот получу гонорар — рассчитаюсь с тобой, и — знать тебя не знаю! Надоело.

— А это еще надо посмотреть, — ухмыльнулся Юзя, — хватит ли твоего гонорара рассчитаться со мной.

Однажды Юзя дал поэту тяжелую папку, сказал, чтобы тот отредактировал его книжку. Поэт, мельком взглянув на первый лист, застонал. Потом сказал Юзе, что потерял очки. И вообще — хватает своей работы.

— Я тебе привезу очки, — пообещал Юзя. — А твоя работа подождет.

И привез. С Николаем. На следующий день. Где-то откопал старые кругляшки с одним ушком, вместо другого привязал резинку. Поэт, увидев такую важную для редакторского труда вещь, улыбнулся, взял ее, напялил на нос и радостно закричал, что очки ему не подходят. “Здесь минус, а у меня — плюс три!” Хотел вернуть назад, но Юзя не позволил:

— Не выпендривайся! Тоже мне, господин нашелся! Минус, плюс... Работай! Я ведь тоже иногда для солидности ношу не свои и — ничего, жив.

Николай предполагал, что книжка та — поэма об угре. Об этой поэме Юзя много говорил. Дескать, какой-то Гусовский или Гусаковский несколько столетий назад написал поэму о зубре. Там ничего нельзя понять, и все почему-то ее хвалят. А я — об угре! А что? Это знаменитая и дорогая рыба, и он о ней много читал в университете. Кроме того, там говорится и про вес рыбы, и как она у нас разводится... Юзя надеялся, что за свой труд он может получить большую премию: кто-то из писателей то ли в шутку, то ли всерьез пообещал выдвинуть Юзино произведение на какой-то литературный конкурс.

...Тогда, когда разговаривали о Книге рекордов Гиннеса, Николай вел Юзю и поэта в писательский бар. Николай никогда не видел настоящих пи-

сателей, тем более не мог представить их пьющими и закусывающими. Ему казалось, что они такие, как герои их книг. Вот песенник, так он такой, как и его песни: и грустные, и веселые, и задорные. А другие писатели?..

— А мне можно зайти с вами? — спросил Николай, когда они приехали.

— Конечно, можно будет, если найдется место, — ответил поэт. — А пока подождите в машине. Мы сходим посмотрим.

Юзя и песенник исчезли в здании Союза, но вскоре вышли оттуда злые, оказалось, их не пустили: бар оккупировали какие-то коммерсанты то ли из Смоленска, то ли из Воронежа. Правда, Юзе и песеннику разрешили быстро выпить по стопке на кухне.

— Эх, — говорил после Юзя, — вот стану начальником, и коммерсанты передо мной плясать будут...

Тогда, когда ехали в лес, Николай думал о том, что такие, как Юзя, могут много плохого сделать людям, пусти их только в начальники.

...Вот он, Юзя, сидит рядом с водителем. Хлюпает сопливым носом, несет от него залежалой рыбой. Уже и гость морщится, принюхивается, никак не может понять: откуда в салоне такая вонь? Он вопросительно поглядывает на шефа, а Эдуард Иванович молчит. Он давно привык к этой вони.

В боковое зеркало Николай видел машину Владимира Трофимовича. Она, как говорят водители, висела у него на "хвосте".

Николай отметил про себя, что этот периферийный водитель чувствует себя в городе так, словно ездит здесь всю жизнь: не отстал ни на одном светофоре.

За кольцевой дорогой через пару километров съехали на узкую, как одной машине проехать, дорожку. Вскоре выехали на мостик, под которым бежал и дышал паром незамерзающий ручей. Через этот мостик не каждый осмелится не то что ехать — идти. Николай знал, что мостик довольно-таки крепкий, на бетонных сваях, но почему-то колышется: наверное, плахи рассохлись и не очень прочно приделаны к сваям. Шеф говорил, что когда-то здесь была дорога на хутор. Но хутор снесли, а дорога заросла, и сейчас по ней, кроме них, никто не ездит и не ходит.

Ручей, или речушка, начинается где-то в лесу, недалеко отсюда. Петляет среди холмов и холмиков, он бежит по березняку и ольшанику, не замерзает ни в какой мороз, здесь водится форель...

Николай про себя назвал эту дорогу именем товарища Эдуарда Ивановича Т. — шеф ее открыл давно, когда еще не был начальником и пешком ходил сюда по грибы.

Сгущались сумерки. В колеях, слегка присыпанных снегом, слабо отражался лунный свет. Небо на западе было еще красноватое. Обычно так бывает перед хорошими морозами. По обе стороны дороги, как изваяния, стояли заснеженные ели и березки с заиндевшими ветвями. В низинах чернели ольхи. Местами здесь встречались дубы с пожухлой, кое-где не опавшей листвой. Вершины у высоких деревьев были еще розовато-золотистые, а вот стволы — коричнево-черные.

Николай знал, что он околеет в машине: не будешь же весь вечер сидеть с включенным двигателем да с работающей печкой. Хотя ему было не привыкать мерзнуть: если уж очень проберет — он мог подойти к костру, чтобы погреться.

Но сидеть в машине ему вообще не пришлось. Как только остановились на полянке, гость, выходя из машины вслед за шефом и заметив, что Николай остается, словно попросил:

— Ильич, может, и ты выходи. Надо проветрить салон: чертом воняет. А пока они, — кивнул на шефа и Юзю, — будут сооружать ужин, так мы с тобой разложим костер. Люблю, брат, костер ночью: таинственным все вокруг кажется.

Конечно, Николай не мог послушаться Владимира Трофимовича. Решил, что шеф не будет ругаться, что шофер присоединяется к компании, — велено же! А вот своего водителя Владимир Трофимович почему-то в компанию не пригласил.

За дровами далеко не надо было ходить. Еще с осени здесь делали санитарную вырубку, вокруг поляны хватало валежника.

Костер разжигал гость. Видно было, что он в этом деле мастер — одной спичкой разжег валежник.

Николай стоял возле костра и не знал, что ему делать дальше: идти к машине или оставаться, — он принес валежник и сейчас не нужен. Шеф и Юзя не обращали на него внимания. На клеенку, разостланную на снегу, они выставляли бутылки, клали хлеб, вяленую плотву, копченого карпа, жареных окуней, соленого леща и даже баночку консервов “Угорь в желе”.

Пили они культурно. Перед каждой рюмкой — обязательно тост. А тост у них один. Его произносил гость: “Вперед!”

Первым после этого “мудрого” слова выпивал сам оратор. Шеф и Юзя ждали. Видимо, считалось, что этим они оказывают гостю глубокое уважение.

Сейчас гость пил иначе, чем утром. Тогда — одним глотком полстакана. Сейчас выпивал содержимое целого стакана в три глотка, и тело его не дергалось в конвульсиях.

Шеф выпивал сразу же после гостя. Пил он маленькими глотками, морща лоб. Опорожнив стакан, нюхал хлеб, но не закусывал им, клал на клеенку, ждал, пока выпьет Юзя. Юзя пил большими глотками, словно утолял жажду.

После каждого стакана начинался разговор. Сначала говорили спокойно. Потом, хорошо опьянев, начали орать, перебивать один другого, и наконец уже никто никого не слушал. Больше говорили гость и шеф. Юзя, очистив три плотвички, — одну положил возле себя, вторую — возле гостя, третью подал шефу, пристал к Владимиру Трофимовичу:

— Попробуйте! Нарочанская! Специально для вас, глубокоуважаемый Владимир Трофимович, такая вкусная! Кому иному я такую не дал бы!

Но гость не слушал. Юзя, наверное, вообще мешал Владимиру Трофимовичу отдыхать после нелегких дневных забот. Кроме того, человек ночью ехал в поезде, наверное, не выспался как следует...

Когда Юзя надоедал со своей рыбкой, гость легонько отталкивал его от себя, но это на стихоплета не действовало. Он вновь приставал со своим:

— Попробуйте! Совсем не воняет...

Николаю от всего этого было противно. Может, если бы тоже выпил (но он — за рулем) и был с ними на равных, ни на что не реагировал бы. А так...

Он уже завидовал шоферу шефа: наверное, человек, укутавшись в теплый кожаный плащ, давно спит и все ему нипочем. Здесь же...

Изярдно опьянев, гость и шеф несут вздор да нахваляются один другого. Время от времени Владимир Трофимович отталкивает от себя бедного стихоплета. А тому по-прежнему все было нипочем.

Конечно, что все так будет, можно было предвидеть: не первый раз Николай привозит сюда шефа и его гостей, всякое повидал на этой полянке.

Сейчас он сетовал, что легко одет: курточка, осенние туфли. Впрочем, пока у него нет добротной одежды.

Юзя с его рыбкой оттолкнули в очередной раз. Но теперь стихоплет обиделся. Он отошел от костра и, как настоящий поэт, посматривал на звездное небо, что-то бормотал себе под нос. Потом принялся размахивать руками, ходить вокруг костра. Наверное, слагал стих.

Юзя расстегнул пальто, но не снял его, не снял и шапку, сдвинул ее набекрень — видно, так за день промерз, что и сейчас еще не согрелся.

Разгоряченный же гость сбросил на снег свою легкую курточку, остался в белой рубашке. Сейчас он был похож на привидение: что-то непонятое бормотал, шатаясь возле костра. Огонь высвечивал его смуглое костлявое лицо, тонкий силуэт, совсем не похожий на тучный шефов.

Эдуард Иванович что-то хотел сказать гостю, но тот его не слушал. Было заметно, что Владимир Трофимович почему-то начинает злиться.

Постепенно костер догорал. Вокруг поляны сгущалась тьма. Березняк, окружавший ее, преобразился в сплошную темную стену. Казалось, снизу она подрезана острой розовой полоской.

Николай почти на ощупь сходил к куче валежника, принес большую охапку сухих ветвей. Пока он отсутствовал, мужчины еще выпили и совсем опьянели. Владимир Трофимович уже сильно шатался, но пытался стать по стойке “смирно”, щелкал каблуками, орал:

— Слушаюсь только вас, мой молодой генерал! За вас любому морду набыю, мой молодой генерал!

Сначала Николаю показалось, что гостю стало плохо: перепил. Такое случается с теми, кого называют “слабаками”, любящими хорошо выпить. Но когда присмотрелся, то понял, что Владимир Трофимович, представляя себя военным, просто дурачится. Пусть, только бы не начал буяннить или драться: тогда неизвестно, кого надо будет спасать.

“Молодой генерал”, как понял Николай, его шеф, поддерживал игру. Он посмотрел на гостя, вытянул перед собой руку, наставил “пистолет” (палец) тому в грудь, заорал:

— Стоять, лейтенант! Упадешь — пристрелю!..

Юзя бегал вокруг них, словно подталкивал свояка на настоящее дело:

— Стреляй в него, Эдя, стреляй! Что-то не нравится мне этот длинноногий. Ты зачем меня сюда привез?

Услышав это, гость вдруг сорвался с места и неожиданно бросился на Эдуарда Ивановича. Но тот опередил, успел “выстрелить”. Тогда “лейтенант” неизвестно какой армии, падая, обхватил за шею “молодого генерала”, но тот удержался на ногах, — начали целоваться.

Юзя же упал на колени, принялся прихлопывать в ладоши, считая: “...пять, шесть, семь... одиннадцать...”

Гость, все еще целуя друга, одной ногой оттолкнул Юзю, на другой прыгал вокруг Эдуарда Ивановича.

Юзя упал, но продолжал считать. На счете “пятьдесят три” гость вдруг сильно оттолкнул от себя друга — тот упал спиной на снег, заорал:

— Эдя! Убери этого юридивого, а то убью!

— Его? — спросил шеф, пробуя подняться. — Так это же Юзик, поэт. Мой свояк... За что?

— Поэт? — удивился гость и внимательно, изучающе посмотрел на Юзю. Казалось, только сейчас он впервые увидел его. Изучив же, нагнулся, решительно схватил стихоплета за воротник пальто, приподнял, словно щенка, повернул лицом к костру, костер вновь вспыхнул, Николай подобросил веток, потребовал:

— Фамилия?

— Импетовский! — выкрикнул Юзя. — Если не слышали — вам минус.

— На каком языке пишешь?

— А на каком надо?

— Н-да, — сказал гость. — Даже так... Тогда кто же ты такой, Юзя Импетовский? Может, мой адрес не дом и не улица?.. Иль ты, как Паниковский, гражданин мира?.. Говорят, что настоящие поэты пишут на том языке, на каком думают, на каком душа поет... Хотя не знаю, не знаю, далеко я от этих дел.

— Володя, что ты к нему прицепился? — вмешался Эдуард Иванович. — Юзя хороший парень. Поэт. Но пока в госизданиях его не хотят печатать. Говорят, ему нужен хороший редактор. А частники согласны издать хоть вчера, но за деньги автора. Юзе спонсор нужен. Я не могу ему помочь. Нет у меня в учреждении возможности спонсировать. А вот если бы ты...

— Говоришь, поэт? — переспросил гость. — Думал, что меня можно рыбкой купить. Нет, братец, мелко берешь. Если хочешь знать, я сам могу любого купить. Я ведь такую жизнь прошел, что...

Гость приподнял Юзю от земли, затряс, словно щенка.

— Пусти, болит! — заорал стихоплет. — Удавишь... Рыбу жрал, а сейчас меня же за мое добро...

— Брось, брось, Володя! — закричал шеф. — Да ты его на самом деле задушишь!

— Брошу, — спокойно сказал гость и отпустил воротник Юзиного пальто.

Импетовский тяжело шмякнулся на землю и затих...

Все это вспомнилось сейчас Николаю и, как казалось, на некоторое время отвлекло от мыслей о жене, дочурке, которую он еще не видел, сыне... И было еще одно то ли воспоминание, то ли видение, но не сейчас, а раньше, когда вчера Николай, вымыв машину, опоздал на автобус, в метро и еще на автобус, не поехал домой, а заночевал в Ерофеевой сторожке.

8

...Каждое лето после обильных дождей на реке случается паводок — тогда вода срывает с нижнего склада, находящегося выше Буды, бревна, а то и целые плоты, и стремительно несет их по течению, пока здесь, возле деревни, где русло делает колено, не сталкивает с левым берегом. Тогда бревна перегораживают реку: здесь образуется своеобразная запруда. Держится она до тех пор, пока не придут плотогонцы и не растянут баграми затор, свяжут кругляки в плоты, подцепят к маленькому буксиру, и тот потянет их к плотине Чернецкой электростанции, чтобы там через шлюзы спуститься с ними ниже и тащить древесину в город к лесокомбинату.

Такой порой буднянские кавалеры перебираются по бревнам на тот берег в соседнюю деревню Хвойницу на танцы — там девичье общежитие местного торфопредприятия и лесхоза. Не будут же женихи, как ребяшня да старушки, идти за три километра к плотине, а потом почти полтора по ней, чтобы попасть в Хвойницу. (Так малышня бегала в кино, а старушки ходили в церковь — в Буде нет ни клуба, ни храма.)

Когда-то в детстве Колька осмелился перебраться по круглякам с того берега реки на свой.

...По мокрым, скользким, крутящимся в воде бревнам с того берега на этот, где стоит Николай, бежит мальчишка. Так и мелькают его покрасневшие пятки, а за спиной ветер развеивает длинную, с чужого плеча, красную рубашку.

Николай видит, что мальчишка прижимает к груди что-то круглое, желтое, похожее на большую луну. Кажется, еще мгновение, и оно или она выскользнет из его рук, покатится по бревнам, а на самом глубоком месте нырнет между ними, и пока мальчик добежит до того места, исчезнет, закольшется из глубины бледным светом...

Николай не понимает ничего, что происходит вокруг, тем более не понимает, почему мальчик бежит через реку по скользким бревнам, если можно было перейти ее по плотине. Бежит он, как говорят в деревне, когда кто-то делал совершенно не то, что надо, а оно грозило опасностью, — на слом головы...

В то мгновение, когда Николай осознал это “на слом головы”, он ясно представил, какая беда надвигается на мальчишку. И сразу же, словно через туман, он разглядел: это же его сын, Гришка...

Николай закричал, чтобы сын, пока не поздно, возвращался назад, к тому берегу, и ждал там отца: ведь если кто сейчас и сможет перебраться через реку по скользким, танцующим под ногами бревнам, так это он, отец. И он все кричал Гришке, а тот не слышал его, бежал и бежал сюда, к своей деревне, домой. И тогда Николай с ужасом понял, что он сам не слышит своего голоса — из груди вырывается стон...

Тогда он попытался сорваться с места, броситься навстречу сыну, надеясь перехватить его возле того места между бревнами, куда нырнула луна (откуда она взялась днем?), но не смог — ноги словно вросли в землю. И вообще сейчас Николай был сам не свой. Единственное, что ему сейчас было подвластно, — только мысли. А между ними, самыми разными, одна — жуткая: он не может предотвратить беду, надвигающуюся на сына с катастрофической скоростью...

А сын по-прежнему бежал к фарватеру, где течение раздвинуло бревна. Там — омут. И было понятно, что Гришке его не перепрыгнуть и что остановиться он уже не сможет. И вот до омута остается один шаг. И в этот момент Николай закричал что есть силы, сорвался с места, бросился навстречу

сыну. Но было поздно. Гришка оттолкнулся от бревна, оно нырнуло под воду, взлетел над омутом, раскинув руки, замахал ими, словно крыльями: в то же мгновение круглый, как полная луна, хлеб исчез в бурлящей темной воде. А Гришка, на секунду задержавшись в воздухе, неистово закричал:

— Хлеб!.. Хлеб!..

То ли сон, то ли видение исчезло...

...Тогда Николай с трудом поднял от стола голову, словно налитую свинцом. Колело в висках, болел затылок, одеревенела шея. И сразу же, как открыл глаза, его ослепил яркий свет лампочки, висевшей низко над столом. Какое-то время Николай не понимал, где он и что с ним. Но вскоре стол, сколоченный из грубых досок, старая шинель без погон, висящая справа на стене, узкие деревянные нарты вдоль нее и небольшое зарешеченное окошко напротив, лай собаки на дворе и яростный приказ: “Фас!.. Чужие!” — возвратили его в реальность — в сторожке.

Почему-то вольной показалась ему тьма за зарешеченным окошком, как и вольными казались мотыльки-снежинки за ним. Но чувство приснившегося страха еще долго владело им. Может, потому, что вновь до него долетел яростный лай овчарки и идиотски-радостная команда: “Фас! Чужие...” Подумалось, что сейчас прозвучит выстрел... Николай вздрогнул... Ему захотелось подхватиться, вышибить тяжелую железную дверь, броситься в темноту, подбежать к хозяину пса, схватить того за грудки, заорать на весь мир: “Люди, что же это такое...” Но не бросился, он даже не пошевелился на табуретке — Ерофей тренирует пса, есть такое хобби у бывшего охранника ГУЛАГа... Верит человек, что вернется то далекое страшное время.

Беда это: большой, несчастный старик. Наверное, то время сломало его жизнь, заставило видеть мир, полный врагов, убедило, что с ними надо бороться ежедневно, ежечасно, беспощадно уничтожая...

Беда и в том, что ночные забавы старого отставника далеко не безобидны. Еще бы: вдоль высокой, похожей на тюремную ограду из бетонных плит стену, сверху оплетенную колючей проволокой, между двумя столбами он натянул шнур, закрепил его на шарнирах и коловороте. На этом шнуре болтается набитый опилками комбинезон. Когда Ерофей крутил коловорот, муляж человека начинал “убегать”, и волкодав по команде “фас!” бросался на него.

Старые комбинезоны сторож выпрашивает у водителей. Ему нужно, чтобы одежда пахла теми людьми, которые здесь работают. Мужчины смеются, дескать, пусть забавляется старикан, а Николаю в этом видится нехорошее...

Сегодня, точнее, вчера, вернувшись в полночь в гараж, чтобы утром, как было приказано, “подать” шефу без пяти шесть машину, Николай с разрешения Ерофея решил скоротать ночь в его сторожке. Ужасное место, ужасный сон, приснилось, будто это не он мальчишкой бежит по бревнам через реку, а сын.

...Тогда Николаю было столько же, как сейчас Гришке, — девять лет. Колькина мать лежала в больнице в райцентре. За мальчиком присматривали соседи, дед Федор и бабушка Полина. А чтобы он не шлялся без дела, хвойницкий пастух, старый Евтеха, друг деда Федора, взял мальчика к себе в пастушки.

Мальчику было тяжело подниматься рано утром, чтобы не опоздать. Дед Федор всегда будил его стуком в окошко. Когда же Колька вставал, приводил себя в порядок, старик не преминал напомнить ему, чтобы он аккуратно, без баловства, переправлялся через реку на его челноке. И пока Колька плыл к тому берегу, дед Федор стоял и наблюдал за ним.

Переправившись через реку, Колька привязывал к вербе челнок и бежал в деревню. С этого ее конца он собирал стадо и по длинной улице гнал на тот конец, где его ожидал живший там дед Евтеха.

Вдвоем они гнали стадо за деревню. Сразу же за последними избами начинался колхозный луг. Надо было смотреть в оба, чтобы стадо не вошло в луг, тогда беды не миновать — пастухов оштрафуют за потраву: коровы-то не колхозников, а лесоучастковцев из нижнего склада. (У колхозников было свое стадо.)

Колька как угорелый носился за коровами, справлялся. Конечно, Евтехе без мальчишки никак нельзя.

Когда по пыльной дороге, минуя луга, входили в лес, можно было отдышаться. Коровы начинали есть лесные травы, разбредались по полянкам. Евтеха садился на пенек, звал Кольку. Когда тот прибежал, старый пастух говорил, что сейчас буренки никуда не денутся, разбредутся по своим полянкам, а к полудню, как всегда, потянутся в глубь леса к ручью на водопой и отдых. Так что — в самый раз пастухам перекусить.

Старик клал на колени полотняную торбочку, будто спрашивал:

— Ну как, раб Божий Николай, посмотрим, что собрала нам моя Невдашечка.

Он важно, не спеша, развязывал торбочку, доставал из нее хлеб, яйца, сало, бутылку молока. Затем все перекрещивал, приглашал Кольку завтракать.

Евтеха как никто в деревне был набожный. Взрослые говорили, что он еще до войны где-то принял старую веру. Вспоминали, что когда его раскулачили (хотя никто не знал — за что?) и гнали по деревне, Евтеха, кланяясь людям, крестился тремя пальцами. Но после войны, когда в пятидесятые годы возвратился, крестился уже двумя перстами. Пришел он из ссылки не один, привел с собой хрупкую, маленькую, ну совсем девчонка, жену, которую почему-то звал Невдашечка.

Николай и сейчас не знает, что связывало старого солдата и героя деда Федора, любителя хорошо выпить и покурить крепкий самосад с богомольным Евтехой: этот водки не замечал и на дух не переносил табак. Более того, он никогда не пил воды из одной кружки с иноверцами — так он звал всех буднянцев и хвойничан. Но говорили также, что в молодые годы Евтеха и Федор якобы дрались за Полину: тем более непонятной была сейчас их дружба...

Сначала Колька отказывался от чужой еды. Он говорил, что дома позавтракал. Евтеха сказывал, что это в его, Колькину, оплату не входит, да и негоже врать старшим, мол, я все о тебе знаю: и что один, и что мама в больнице, и что парень ты неплохой...

Старик доставал из торбочки две одинаковые кружки. Одну себе, другую, ручка которой была перевязана веревочкой, подавал Кольке, и объяснял:

— Ты, Николай, не обижайся. Вера у меня такая, запрещает пить-есть из одной посуды с иноверцами.

Колька ничего не понимал, но не обижался на Евтеху: что возьмешь с этого старика с седой длинной бородой, который верит в Бога. Он же, наверное, в школе не учился. А какая школа при царе была, Колька знал из учебников: да в ней закон Божий преподавали, вдальблвали детям в голову всякую ерунду. Тогда даже пионерской организации не было! Колька же готовился вступить в пионеры: а как же!..

Но и иное слышал мальчик от старого богомольца: “Если человек обижает другого, если не разделит с голодным свой хлеб, не согреет того, кто нуждается в тепле, так какой бы он веры ни придерживался, сколько и какому Богу ни молился бы, греш ему цена”.

Колька тогда мало что понимал в такой философии старого отступника (так Евтеху иногда называл дед Федор), но боялся одного: вдруг в школе узнают, что он слушает нравоучения богомольца, тогда не примут в пионеры и на этот раз. Ведь в прошлый раз, когда в пионеры принимали его одноклассников, Кольки в школе не было — болела мама, и он пропускал занятия, ухаживал за ней.

Тогда Колька тайком плакал: ведь он один из класса не пионер. Ему было очень обидно. Но однажды учительница сказала, что в пионеры его примут уже в четвертом классе, перед Октябрьскими праздниками. А это значит, этой осенью, так что ждать ему не так уж и долго.

Евтеха все лето подкармливал мальчику, хотя кормили его и хозяева коров. Давали с собой. И Колька даже приносил еду домой.

Дед Федор, глядя на Кольку, радовался, что он за лето набрался сил, как говорил, “окреп”, и сейчас называл его не иначе как Николай. Сосед не-

сколько раз ездил в райцентр, чтобы навестить Колькину мать в больнице, возил ей передачи, собранные Невдашечкой. Возвращаясь, успокаивал мальчика, что его мама поправляется, что она радуется за сына — он же при деле, взрослый.

Этот “взрослый” не раз втайне от людей плакал, что его мамы нет с ним, что она все болеет и болеет. Единственное, что было его утешением, так это, что он работает, а коли так, то, как вернется мама, они смогут какое-то время жить без забот. И все у него было хорошо до тех пор, пока не пошли дожди. Тогда с нижнего склада сорвало эстакаду и на реке возле деревни образовалась запруда из бревен. Тогда Колька вынужден был вставать совсем рано, бежать к плотине — а это большой круг — и по ней перебираться на тот берег, чтобы не опоздать собрать стадо.

Часто утром, когда Колька бежал к плотине, его на “козлике” обгонял Гел. Мальчик знал, что тот ехал в Хвойницу, но Гел ни разу его не подвез. В Хвойнице была замужем Гелова дочь, и отец (это знали все) часто возил ей что-то из колхозной фермы или амбара.

Евтеха говорил Кольке, что к школе он неплохо заработает, сможет купить себе не только костюмчик, но и теплую жакетку для матери, да еще останутся деньги на жизнь. Старый богомолец, когда Колькина мать вернулась из больницы, давал ей лекарственные травы — Евтеха слыл знахарем, он им стал, говорили, вернувшись из ссылки с севера.

Трудно определить, от лекарств или от трав, но к осени мать выздоровела и даже стала ходить на работу в колхоз: боялась, что на зиму останется без трудной. Да и бригадир не раз упрекал ее, что все деревенские мальчишки помогают колхозу, а ее сынок к вражине-кулаку приклеился. А раз так, то к зиме она ничего не получит из колхоза: поголодает с сыном — будет знать, что по чем. Но мать не хотела, чтобы Колька ходил в колхоз, говорила, что в колхозе она “поклала” на ферме здоровье и сейчас никому до этого нет дела.

До болезни мать доила коров в продуваемом ветром коровнике. Она очень рано поднималась, поздно возвращалась. Сама, с другими такими же доярками, таскала коровам бесконечное множество ведер воды, силос, убирала навоз. Вечно ходила простуженная, но ни бригадир-пьянице, ни Гелу до этого не было дела. Конечно, в таком положении были все доярки, молодые и пожилые женщины. Все они часто болели, работали как каторжные, у них не было ни выходных, ни отпусков, в отличие от тех, кто работал на лесоучастке или на нижнем складе. Мальчик, видя это, уже тогда понимал, что чем больше работает человек, тем более он унижен, как его мать, например.

Однажды накануне Спаса, когда из больницы вернулась Колькина мама, Евтехина Невдашечка испекла хлеб. Старик утром, когда Колька собрал стадо, дал ему огромный душистый каравай и сказал, чтобы мальчик шел домой, отнес матери — приближается праздник. И вообще, пусть Колька уже отдыхает перед школой, расчет Евтеха принесет ему чуть позже, когда соберет с людей плату. И еще говорил ему пастух, что хлеб этот — особенный, ибо Колька его заработал сам.

Мальчик еще никогда так не радовался, как тогда. Еще бы: он заработал хлеб! Он взрослый и сильный. Сейчас он никого и ничего не боялся, даже ихнего обидчика Гела. Колька верил: как только мать поест этого хлеба, то выздоровеет окончательно.

Конечно, Кольке хотелось как можно скорее порадовать мать. Разве он мог бежать домой по дальней дороге — через плотину? Известно, если у тебя такая радость, забудешь о всякой осторожности и никакие преграды тебе не страшны: скорее, скорее...

Уже когда мальчик бежал к реке, прижимая к груди каравай, его на “козлике” догнал Гел. Колька, чтобы не попасть под колеса, остановился. Гел, как показалось мальчику, нехорошо усмехнулся, прибавил газу — машина направилась к плотине.

Колька вновь побежал. Он спешил к реке и думал только об одном: как обрадуется мама, когда он положит на стол каравай... Он представлял, как она будет гладить его по голове, говорить, что сын уже взрослый, настоящий помощник, и что сейчас ей ничто не страшно, даже Гел.

Колька бежал и не видел, что на противоположном берегу, на том месте, к которому он стремился, стоит конюх Осип. Он, как всегда в это время, пригнал к реке поить лошадей. Осип, поняв, что мальчик собирается по бревнам перескочить реку, начал махал ему кулаком, кричал, чтобы Колька не смел лезть на бревна, грозился исполосовать ремнем задницу, а мальчик ничего этого не видел и не слышал. Он уже вскочил на первый плот. Слабо связанные бревна, словно клавиши, заплясали у него под ногами, а Колька, не обращая на это внимания, прыгал по ним вперед, к родному берегу. Он не видел, что ближе к середине реки, к фарватеру, не плоты, а несвязанные бревна, что они тяжело трутся друг о друга, угрожающе ворочаются — здесь бездна...

...А дальше все было, как во сне с его сыном Гришкой... Прыжок над бездной, и раскинутые в стороны руки, словно крылья, будто Колька хотел взлететь над бездной, и каравай, нырнувший в темную глубину, и яростный крик: “Хлеб!.. Хлеб!..”

Уже проваливаясь в бездну, Колька чудом успел ухватиться за бревно и не выпустил его даже тогда, когда из разжатых пальцев по воде растекалась кровь. Он не помнил, как Осип длинной жердью подтаскивал его к прибитому к берегу плоту. Когда мокрый, перепуганный Колька лежал на берегу и повторял как заведенный одно и то же: “Хлеб!..”, Осип не бил его и даже не бранил, а только беззвучно, по-старчески плакал.

Кажется, ни до того случая и никогда потом Николаю не было так больно и обидно. Ему было жаль себя и маму. Тогда ему казалось, что с этим заработанным караваем, раздавленными бревнами, исчезнувшим в бездне, навсегда исчезла надежда на добро в его, Колькиной, и горемычной маминой жизни. Он считал себя виноватым в том, что не послушался маму, просившую ходить только по плотине, деда Федора, Евтеху. Это была его не по-детски осознанная вина (подвел всех). Она жгла душу словно незаживающая рана. И дома, куда его, выбиваясь из сил, почти бесчувственного принес старый Осип, Колька не мог успокоиться, понимая, что он наделал.

А вечером, когда он, истерзанный обидой, упал в полузабытьи, во дворе застучали колеса. Послышалось: “Тпр-у-у!..” Через минуту в хату вошел Евтеха. Он посмотрел на него, лежащего на кровати, на опечаленную растерянную мать, постоял у порога и вдруг вопреки своей вере взял на скамейке кружку, посудину иноверцев, из которой они пили, зачерпнул из ведра воды и, думая о чем-то своем, долго пил.

Потом Колька заснул, спал целые сутки. Мать говорила, что Евтеха творил над ним молитвы и заговоры. Он просил Бога, чтобы к рабу Божьему Николаю “не пристала никакая хворь”, чтобы “ум его не помутился”, чтобы “падучая” прошла стороной и сгинула в сухом лесу.

Колька проснулся только тогда, когда следующим вечером приехал на телеге Евтеха. Он подошел к кровати и положил свою грубую ладонь ему на лоб. Какое-то неизвестное до сих пор спокойствие заполонило мальчика. Ему стало легко и хорошо.

И снова старый богомолец пил воду из их кружки.

А осенью, когда пошли первые заморозки, Евтеха привез его, Колькин, заработок: три мешка ржи (он сказал: “хлеба”), хорошую плашку сала, почти воз картошки и даже горсть денег.

Евтехина Невдашечка передала от себя гостиниц: яблок, лука, чеснока, огурцов, помидоров — чего в тот год у них не было, так как за огородом ухаживать было некому, и он зарос сорняком.

С тех пор Николаю, и когда был мальчиком, и когда вырос, стал взрослым, и сейчас, может быть, тысячу раз снилось одно и то же — он, мальчишка, прижимая к груди каравай, бежит по мокрым скользким бревнам через реку, и... срывается в бездну...

Во сне он понимал, что это сон, на самом ужасном заставлял себя просыпаться, а проснувшись, вновь и вновь мысленно возвращался к былому. И сейчас его сковывал ужас, ему как никогда было жутко: сейчас во сне был не он, а его сын, Гришка...

После этого Николай уже заснуть не смог. Может, если бы был дома, еще поспал бы. А здесь, в сторожке — нет!

Он подумал: если бы дежурил другой сторож, Пенкрат, так с тем можно было бы договориться, взять машину и съездить домой, посмотреть, как там сын. А с Ерофеем, помешанным на ненависти и недоверии к людям, не договоришься. Для него люди существуют только как враги. Наверное, когда-то Ерофей в лагерях издевался над невинными: вот и пришла расплата, его разум помутился, иначе как объяснить такое?

Тогда Николай подумал, что, видимо, зря волнуется за сына: да спит Гришка, спит. И все же в семь утра, позволит или не позволит шеф, Николай позвонит Артимоновне. Старушка в это время просыпается, чтобы вести Рекса на прогулку. Николай попросит, чтобы она посмотрела, как там Гришка, проследила, чтобы он поел, не опоздал в школу. Артимоновна просьбу выполнит с радостью, позовет Гришку к телефону, заставит покушать, вообще посмотрит, как там и что.

Да и с женой должно быть все в порядке: там же врачи, и с малышкой — тоже. Но к чему такое приснилось?..

Иногда он верил в сны, иногда — нет. Когда у тебя все хорошо, на сны не обращаешь внимания. Когда же что-то не ладится, начинаешь верить в разные глупости: гороскопы, приметы, боишься черных котов, перебегающих перед машиной дорогу, сглаза, и вообще сам не знаешь чего. Наверное, такова человеческая натура.

9

Для волнений у Николая нет причин. Шеф все еще не выходит? Ну и что? Посиди, подумай, повспоминай хорошее, тогда легче станет. А то сам себя загонишь в угол... Вот приедет Владимир Трофимович. Встретят его на вокзале. Лучше, конечно, было бы, чтобы встречал один шофер. Тогда Николай сказал бы Владимиру Трофимовичу, что у него родилась дочь, что жена в роддоме, а он даже туда не подъехал.

Несомненно, Владимир Трофимович, услышав это, поздравит, скажет: езжай, обойдусь без тебя. У гостя здесь и без Эдуарда Ивановича друзей хватает, могут дать машину, если надо. Впрочем, Владимир Трофимович такой, что и такси может взять. Денег у него хватает, он не жадный. Вон тогда, когда в лесу кутили, каким ни был пьяным, а поинтересовался, как семья. Николай сказал, что жена в положении, живут как все: не бедствуют, но и не жируют, угла своего нет, но ничего...

Гость выслушал, потом достал из кармана бумажку, подал Николаю:

— Извини, Ильич, и не посчитай за оскорбление. Возьми. Мы сегодня с Эдиком кое-что заработали, а ты нас возил.

В иных обстоятельствах Николай ни за что не взял бы, сгорел бы со стыда. А здесь...

Сколько ехал потом с шефом по городу — гость укатил на своей машине, в кармане жгло, словно раскаленным железом: что же за бумажку дал Трофимович?.. Ведь при нем не рассмотрел. Как только отвез шефа и отъехал от его дома, достал и остолбенел: сто долларов! До сих пор такие деньги к нему не приходили: в одно мгновение — сто долларов! Вот это гость! Но что делать?.. Хорошо, что ни шеф, ни Юзя не видели, как Владимир Трофимович давал ему деньги.

Жена, увидев деньги, испуганно замахала руками:

— На гостинец или в подарок столько кто же даст? Целое богатство. Смотри, еще втянут тебя куда. Здесь что-то нечисто.

— Не похоже, — сказал он и тоже засомневался: за что?..

Сейчас Николай решил, что если сегодня Владимир Трофимович будет давать ему деньги, не возьмет. Да, была искуссительная мысль, но он вовремя ее отогнал. Сейчас же ему не деньги важны, а сочувствие. Много в чем. И в семейных делах, и по работе, и...

Вообще-то дела такие: нужно будет заехать в учреждение и получить аванс за месяц — задерживают. Тогда он сразу отложит деньги Гришке на

обеда на целый месяц. Потом нужно выкроить время, чтобы купить цветов, заехать за сыном и — в роддом. А вечером обязательно надо зайти к Дунину и отдать долг: не отдашь своевременно — нарастают проценты. За квартиру он заплатит с полочки. Так они договаривались с хозяином.

Что деньги тем, кто работает по совести, и таким, как Николай, да и ему подобным, легко не даются, всем известно. Раньше, как бы тяжело ни жилось, но за будущее семьи не было страшно. Раньше верилось, что не сегодня, так завтра будет лучше. Также верилось, что наступит время, когда люди и ты сам станут добрее. Помнится тогда, если чего и боялся, то кого-то конкретного. В детстве — шофера председателя колхоза Гела, учительницу, директора школы. Позже — начальства, комендантку общежития. Но все равно кажется, что жить было не страшно. Знал, что не пропадешь в стране, где родился, вырос, стал работать на заводе.

А сейчас проснешься утром и думаешь только об одном: что же сегодня будет с твоими родными? Сейчас живешь одним днем, не заглядывая в будущее. А если иногда и заглядываешь, так становится жутко: неужели никогда твоя семья не будет жить по-человечески?..

Может быть, сейчас страшно потому, что ты зависишь не столько от государства, сколько от таких людей, как Дунин, и ему подобных, считающих себя вправе вершить твою судьбу... Что, наступают времена крепостничества?.. По чьей вине? Неужели со временем люди становятся глупее, чем их предшественники, и слепо верят в ложь?

10

Николай очень благодарен шефу за то, что тот взял его, откровенно говоря, неопытного водителя, к себе. Эдуард Иванович сказал еще: если он будет работать хорошо, так его пристроит в какой-нибудь строительный кооператив, постарается помочь с кредитом. Вот и появилась у Николая надежда, что рано или поздно его семья будет иметь свой угол. А когда Вера забеременела, они не рассуждали: нужен им еще один ребенок или нет.

Конечно, поднять двоих детей им будет непросто — помощи ждать не от кого: одни они с Верой остались на этом свете, без родителей, сестер и братьев. Мать у Николая умерла, когда он заканчивал школу, отца он не помнит. Был еще совсем маленьким, когда отец уехал на целину на заработки да там и остался. Может быть, не хотелось ему возвращаться — был он в деревне чужой, пришел из далеких краев. Верины же родители умерли рано, настрадалась она среди чужих людей, прежде чем встретила с Николаем да вышла за него замуж. В деревне уже и хаты Николаевой не было. Продал за бесценок колхозу, когда после школы устроился в городе на завод.

Николай часто думал, почему так устроена жизнь, что в ней, где бы ты ни был, что бы ни делал, обязательно найдется человек, от которого во многом зависит твоя судьба. Сейчас это шеф, а в детстве же и позже судьба Николая и судьба его матери, да и почти всех односельчан, во многом, без преувеличения, зависела от никчемного человечка Гела. И все почему-то считали, что так и должно быть, хотя Гела ненавидели и проклинали.

А этот вершитель чужих судеб не брезговал обедами с хозяйского стола, с разрешения своего хозяина запускал руку в колхозные закрома. И жил лучше, чем кто-либо в деревне. И тогда, когда возил председателя, и сейчас, на пенсии. А как только лишился своего хозяина, сразу же стал относиться к нему с презрением, рассказывать о нем все, что знал, — оказывается, для Гела не было более низкого человека, чем Петухов, у которого был в услужении.

Вот как бывает в жизни!.. Думая так, Николай приходил к выводу, что, наверное, такова участь добровольных рабов типа Гела: служить своему хозяину, пока тот имеет над тобой власть, а только стоит тому ее потерять, как у раба пробуждаются животные инстинкты. Тогда он уж власть может поиздеваться над тем, кому служил.

Странно, конечно, но почему в жизни часто такие никчемные людишки так возвышаются над людьми?

Подумав так, Николай вздрогнул: а Эдуард Иванович не из таких? Да и его жена, и та же Альбрехтовна, которые постоянно его, Николая, унижают. И сейчас битый час шофер ждет Эдуарда Ивановича, а того нет. Неужели нельзя было сказать точно, когда нужно приехать? Шеф же знает, что у Николая родилась дочь, что сынишка дома один...

— Папа?.. Да, я. Вот собрался в школу, Артимоновна позвала к телефону. Нет, за меня не беспокойся, все хорошо. Покушал (сказал неправду)... Приедешь за мной?.. Хорошо, после школы буду дома, никуда не пойду... Сестричка?.. Сестричка... Подумать, как назовем?.. Хорошо, плохо слышно, что-то пишикает... Слышу, слышу... Хорошо, сразу же — домой...

Когда позвонила в дверь Артимоновна, Гришка уже сидел одетый в школьную форму, и ему было очень обидно, что он сегодня один дома. Ночью он проснулся оттого, что болело под ложечкой, а лоб был мокрый. Болело не так, как вчера вечером: не оттягивало, не расплывалось по всему животу и не сходилось в одно, когда сворачивался калачиком, а кололо, словно внутри была игла — от нее расходились горячие круги.

Прежде всего Гришка открыл кран, подождал, пока вода станет совсем холодной, набрал стакан, всыпал туда ложечку соды — так делает Артимоновна, когда у нее, как она говорит, “мутит” внутри, выпил. Сразу же кажется, что полегчало, живот стал мягче — ничего, терпеть можно.

Есть не хотелось, завтракать он не стал. Да и боялся, чтобы от горячего не сделалось хуже. Сегодня его очередь бежать за хлебом. Но он скажет Витьке, если до того времени не перестанет болеть живот, что лучше пообедать в столовой, один день пропустить — небольшая потеря в его, Гришкиной, экономике. Если Витька не согласится, так Гришка сбегает за хлебом, пусть Витька сам съедает все, а он потерпит...

Вообще-то, когда полегчало, так и обида исчезла: он же не маленький и понимает, что никто нарочно его дома одного не оставлял, что мама в роддоме, а отец на работе. Знает, что родители надеются на его самостоятельность, так зачем нюни распускать?

А ровно в семь позвонила Артимоновна. Когда он открыл ей дверь, полезла целоваться — он чуть вырвался из ее объятий: “Поздравляю тебя, Гришка, с сестричкой!”

Гришка сразу же побежал к старушке на квартиру, туда звонил отец.

По радиотелефону было плохо слышно — как из-под земли. Но Гришка все понял и очень обрадовался, что сейчас у него, как и у Витьки, есть сестричка, о которой он тоже будет заботиться. И Гришке даже лучше, чем другу: пока его сестричка станет такой, как сейчас Витькина, Гришка уже вырастет и не позволит никому обижать свою... А еще папа сказал, чтобы Гришка сам придумал имя сестричке. Но сколько мальчик ни думал, ничего не мог придумать. Лезут в голову какие-то Лели, Жанки, Снежанки, но ничего, он придумает что-то лучшее.

Размышляя так, Гришка посмотрел на часы: время выходить из дому.

II

Дом постепенно оживал. То здесь, то там в окнах зажигался свет, в щелевых окнах по-прежнему было темно. Но сейчас Николая это не очень волнует: он поговорил с сыном по телефону, дома — все как и должно быть. А шеф, видимо, спит. Или увидел из окна, что машина стоит, и не звонит, не спрашивает, далеко ли Николай. А то было однажды, в первый день работы, опоздал шофер к назначенному времени на десять минут — чуть работы не лишился.

Тогда утром машина долго не заводилась, а потом почему-то был перекрыт проспект. Когда Николай приехал, то увидел, что шеф возле подъезда в свежем снегу, ожидая, вытоптал большую площадку. Ворот его коричневой кожаной куртки был поднят, а уши пыжиковой шапки опущены.

Возле подъезда стояла чья-то новенькая “Волга”, тоже с антенной-ра-

диомячком. К ней из дома вышел какой-то важный начальник в длинном белом плаще и черной шляпе, в темных, от снега, очках.

Шеф, заметив его, учтиво поклонился. Тот улыбнулся, похлопал Эдуарда Ивановича по плечу, показал на свою “Волгу”, предлагал подвезти. Шеф тоже заулыбался, направился было к чужой машине, но Николай в это время резко газанул, поставил свою развалюху впереди новенькой “Волги”.

Шеф заметил его, опешил, направился к своей машине, потом вдруг остановился как вкопанный, погрозил кулаком Николаю и, уже открывая дверцу, засипел:

— Где ты стал? Съесть, съесть! Дай дорогу Игорю Андреевичу.

Тогда Николай понял, что не следовало ставить свою колыхающую впереди машины Игоря Андреевича, резко рванул с места, стал позади новенькой “Волги”.

Шеф не удержался за дверцу, поскользнулся, чуть не упал, но его поддерживал Игорь Андреевич. Потом Игорь Андреевич, садясь в свою машину, засмеялся. Глядя на него, неестественно засмеялся и Эдуард Иванович. А Николай совсем растерялся: что он сделал не так? В конце концов, когда его вчера инструктировал механик Сергей Афанасьевич, как себя вести, не говорил, где ему ставить машину, если возникнет подобная ситуация.

Сев рядом с Николаем, шеф набросился на него:

— Еще раз такое — выгоню!

Поехали. Минут пять помолчав, шеф вдруг взорвался:

— Почему опоздал? Халтурил или проспал? Здесь же десять минут ехать.

— Долго не заводилась. Добита. Да и проспект был перекрыт.

— А мне какое дело? Проспект... Добита... Ремонтируй!.. Приказано быть без пятнадцати девять — будь! Иначе — вон к такой матери!

Николай тогда опешил...

12

Гастроном находится недалеко от пустыря. Ранним утром, когда было еще довольно темно, здесь встретились двое мужчин. Их привели сюда тяжелые ночные страдания, от которых, по их разумению, могли они избавиться на какое-то время только одним — похмельем.

Они также знали, что такое порой спасительное, как сами говорили, пойло, можно, если повезет, достать только здесь, у Кати-похметолога. Катя-похметолог — женщина, торгующая из-под полы сахарным самогоном, отравой, способной на какое-то время оглушить, сняв невыносимую головную боль. Они также знали, что потом, через час-два, станет совершенно невыносимо и вновь нужно будет думать, как добыть выпивку, но это будет потом. А пока...

Первым сюда пришел мужчина в истрепанной фуфайке, рваных ватных штанах, в больших резиновых сапогах, в заячьей ушанке с оторванным ухом.

Он знал, что днем из-за одного такого вида его могут остановить милиционеры. Их он боялся как огня, а сейчас здесь никого нет. Сейчас он никого не опасался, смело ходил возле гастронома, ожидая, когда появится Катя-похметолог: в кармане у него имелись деньги на полстакана “пойла” — сдал вчера перед самым закрытием приемного пункта бутылки.

Он также знал, что вот-вот сюда обязательно явится еще кто-нибудь, такой же, кому так же плохо, как и ему.

Этот человек давно свыкся со своей судьбой бомжа и уже не представлял себя в иной жизни. Его иная жизнь давно прошла, тем не менее изредка все же она появлялась в его сознании через сны. Случалось это обычно тогда, когда в подвале пятиэтажного дома, где он жил за отопительными трубами вот уже несколько лет, вдруг в его руке на ночь оказывалась бутылка дешевого вина. Это было счастье! Вино на время облегчало душевные и физические страдания, и тогда ему удавалось на час-другой заснуть.

Тогда, словно сквозь туман, ему виделась освещенная прожекторами сцена, он — не он на ней, саксофон в его или в чужих руках, и публика,

вызывающая кого-то на бис. Он (или кто другой) начинает играть, и с первой, не помнит, с какой конкретно, нотой далекое эхо, кажется, чужой жизни исчезает...

Кроме этих редких снов да этого эха, у него больше ничего не осталось, что связывало бы с прошлым, вообще с миром людей, в котором, кажется, он никогда и не жил.

Иногда, когда исчезал этот сон, ему вспоминались, словно придуманные, красивые молодые женщины, окружавшие его, тоже когда-то молодого и, кажется, самого талантливого музыканта в мире...

Но много лет тому или всего два-три года (сейчас он и сам не мог точно определить — сколько) его звезда неповторимого музыканта незаметно погасла. Он и сам не заметил, как спился. Не заметил, как женщины, бывшие поклонницы не его таланта, а денег, мгновенно забыли о нем. Он не знал, что так называемые друзья, радующиеся его падению, сейчас будут драться меж собой, чтобы занять освободившееся место на Олимпе. Он также не понимал, что они сознательно спаивали его и делали все для того, чтобы разные профкомы, парткомы, администрации и иные органы в конце концов “добили” его как человека, лишив своими “воспитательными наказаниями” малейшей возможности вырваться из того капкана, в который он угодил незаметно для себя.

Когда-то музыкант, приняв с вызовом обвинения не столько в пьянстве, сколько в “антинародности и антипартийности” его музыкального исполнения “безыдейных” произведений, махнул на все, уехал из большой столицы в меньшую, где в свое время учился, и отдался “свободной” жизни, только бы быть подальше от тех, кто его наставлял на путь “истинный”.

Тогда этот человек не имел даже малейшего представления о том, что наступит время и он будет ошиваться по подвалам и пустырям, подальше от непохожих на него людей, что каждое утро будет искать “спасительной” капли, без чего уже не сможет существовать на этой земле.

Способов добыть питье у него, как и у каждого бомжа, было немало — от помойки, где иногда, если повезет, можно насобирать пустых бутылок, до попрошайничества на улице. Бывало, ночами, не имея ничего выпить, ожидая “спасительного” утра, он в одиночестве тысячи раз умирал в подвале. Но как только начинал брезжить рассвет, бежал к пивнушкам, гастрономам, туда, где рано или поздно удавалось опохмелиться. Там, когда у тебя нет даже копейки, умереть не позволят: в конце концов найдется такой же, как и ты, даст глотнуть, а то и плеснет в стакан или воткнет в испекшиеся потресканные губы горлышко бутылки.

Второго мужчину, который пришел сюда чуть позднее, местные бомжи и алкоголики звали Афган.

Афгана знали во всех ближайших пивнушках. Ему везде разрешалось брать пиво вне очереди. Говорили, что Афган — чокнутый, но не от рождения. Говорили, что таким он вернулся с афганской войны — молоденьким лейтенанчиком. Сейчас он жил одиноко в своей однокомнатной квартирке в этом микрорайоне. Знали, что Афган самый богатый из местных пьяниц, не говоря уже об алкоголиках: он получает пенсию. С пенсии Афган угощает всех, никогда не пройдет мимо того, кому плохо, кого трясет, кто еле живой стоит возле пивнушки, ожидая сочувствия...

Афган, как и Маэстро, давно уже не мог существовать без спиртного. Если бы вдруг у него исчезла возможность пить, наверное, он умер бы. Жутко, но только выпив стакан, он на некоторое время чувствовал себя живым. Тогда он понимал, что болен, ругал себя последними словами. Но при этом даже не пытался искать хоть какую возможность избавления от страшнейшего недуга, поражающего волю, ум, все жизненные органы: стоит ли, если тебя, когда ты в нормальном состоянии, сжигает на адском костре одно видение... Оно преследовало Афгана уже много лет, с той минуты, когда на его глазах заживо сгорел весь экипаж БТРа — его солдатики. А его с ними нет, он в страхе успел первым соскочить с брони...

Вот так тогда для него перевернулся мир обычной человеческой жизни, исчез навсегда. Сейчас он не помнил ничего, что было с ним раньше. Сейчас

он просто существовал помимо своей воли, и когда изредка находился в состоянии, напоминающем трезвость, тогда все вокруг казалось ему чуждым, абсолютно нереальным, к чему он не имел никакого отношения. Он чувствовал, что не может существовать в этом мире, он чужд ему, чужд...

Наверное, этот мир был чужд ему прежде всего потому, что он не знал ни отца, ни матери: Афган был подкидышем. Когда-то вот такой снежной зимой ночью дежурный одного провинциального вокзальчика услышал в пустом зале ожидания слабый детский плач, доносившийся из темного дальнего угла.

Дежурный, предпенсионного возраста мужчина, еще минуту тому проводивший в путь поезд дальнего следования, останавливавшийся здесь, недалеко от воинской части, на две минуты, не видел перед этим на станции никого с ребенком на руках. “Что за напасть? — подумал дежурный, одновременно прислушиваясь к затихающему вдали перестуку колес и нарастающему детскому плачу, уже похожему на крик. — Померещилось?”

Нет, не померещилось. Дежурный нашел на скамейке завернутого в солдатское одеяло ребеночка. Ребеночек был в том возрасте, когда образ матери еще не мог явственно запечатлеться в его памяти так, чтобы на всю жизнь. Впрочем, в подсознании у него еще не оборвалась та природная связь с матерью, когда голодный ротик ищет грудь в каждой женщине, которая в этот момент возьмет его на руки. И он, изнемогая в крике, искал материнскую грудь у женщины-кассира, такой же пожилой, как и дежурный, да так и не нашел тогда ни у нее, ни после, в Доме малютки, куда был сдан, как и подобает в таких случаях.

И все же каким маленьким он тогда ни был, что-то неуловимое, похожее на женский образ, пахнущее молоком, несущее тепло, скользнуло в его то ли сознании, то ли памяти, если они есть у человека в таком возрасте. И потом через какое-то время, через несколько лет, десятилетие, два с половиной десятилетия, этот образ, это неуловимое ощущение ускользающего тепла хотя и очень смутно, но возникало в его сознании. Правда, только в очень тяжелые минуты его жизни (для каждого возраста они разные). И тогда хотелось, ни на что, ни на кого не обращая внимания, закричать, позвать: “Мама!” Позвать, чтобы, как крестом, прикрыться этим именем, ощутить себя защищенным ее образом, похожим на лик иконы, который он однажды, после окончания военного училища, видел в храме, когда перед отправкой в Афганистан ноги сами принесли его туда...

“Мама!” — он крикнул, но не в голос, а мысленно, когда прыгал с брони горящего БТРа (да не прыгал он, его сдуло взрывной волной, он потом зря корил себя за трусость, корил долго, пока что-то не случилось с его умом, когда мир вокруг словно накрыла какая-то зловещая серая пелена), но никто тогда ему не отозвался, и лица он не увидел...

С тех пор этот мир, некогда принявший его безымянного, наградивший чужим именем — Иван Иванович Привокзальный, мир, который вырастил его без материнской ласки и тепла, взявший на себя право выстраивать его судьбу, бросивший воевать на чужую землю, в одно мгновение стер из его памяти, воображения тот образ, который был нужен ему всю жизнь. И этот мир стал ему чужд, он перестал существовать для этого человека.

Но он знал: стоит только выпить хоть полстакана “пойла”, как он начнет существовать в каком-то сомнамбулическом пространстве, где нет того ужасного зрелища, увиденного им тогда...

Когда встретились эти двое мужчин, они даже не обрадовались (чувство радости у них давно атрофировалось). Они просто знали, что произойдет дальше.

Они знали друг друга, хотя не слышали, как кого зовут. Просто в памяти были отмечены, словно какие-то знаки: есть такой. (Впервые это отпечаталось в их сознании прошлой осенью, когда им случилось вместе через камыши убежать от милиции.)

Потом их тропки не однажды сходились возле гастронома. Случалось, если у кого-то были деньги и он брал бутылку, спешили на пустырь за трубы или блоки. Там по очереди пили из горлышка, ни о чем не говорили, вооб-

ше не издавали ни звука, разве что, когда по тропинке какой-нибудь мальчишка бежал в школу или из школы, просили:

— Мальчик, посмотри, нет ли кого?

Они не знали, что их зовут “горнистами”, что они — жертвы своих судьб, и что все на них, разве что кроме мальчика и его друга, смотрят как на “отбросы” общества, не задумываясь, почему такими стали и если вдруг случится кому-то упасть, вряд ли кто подымет — алкаши...

А между прочим, когда-то и их родила мать, и они, как каждый из нас, жили среди людей...

Хотя до открытия гастронома было еще далеко, им повезло: во-первых, у Афгана были деньги, во-вторых, когда они пришли сюда, здесь уже была Катя-похметолог. Афган купил у нее бутылку самогона. Мужчины сразу же направились к пустырю, чтобы там, не опасаясь никого, выпить: утром возле гастронома может появиться милицейская машина: патрульная служба ездит и здесь. У них хватило выдержки спуститься по насыпи к пустырю и знакомой тропкой пройти к плитам.

Афган, он шел впереди, вдруг споткнулся на полдороге: на снегу на тропинке лежало что-то похожее на кругляк.

Какое-то внутреннее, не изничтоженное ни войной, ни алкоголем чувство сопричастности к миру вдруг вспыхнуло в нем, подсказало, что это не бревно, а что-то живое, еще теплое, дышащее.

В следующее мгновение его душу вновь, как часто случалось, обожгла огненная вспышка. Он застонал и, чтобы погасить испепеляющее все внутри пламя, зубами яростно вырвал из горлышка бутылки бумажную пробку, поднес ко рту, но в эту же секунду через свой стон услышал слабое, как далеко эхо: “Мама...”

В какое-то неуловимое мгновение его сознание озарилось дивным умиротворяющим светом, и свет этот вытолкнул из души жуткое видение, испепеляющее ее еще секунду тому, он прохрипел: “Люди, помогите”, но услышал в ответ только обрывки холодного эха. Он отбросил бутылку, из которой так и не хлебнул спасительного для него “пойла”, склонился над тем, кто лежал на снегу, огрубевшими, еще минуту назад совершенно бесчувственными пальцами нащупал холодный лоб, закричал: “Мама!” — подхватил его на руки, заметался, не зная, что делать, потом бросился в направлении школы.

Он бежал к ней с мальчиком на руках, далекие огни в ее окнах прыгали у него перед глазами, и казалось, что они ни на шаг не приближаются, а сзади чуть ли не наступая ему на пятки, хрипел в темноту его товарищ: “Люди... Люди...”

Они бежали вперед, спасая человека, и не знали, что по улице от магазина параллельно им наперехват направляется милицейская машина. Они также не знали, что молоденький милиционер, посматривая на два темных силуэта на пустыре, сжимал в руке резиновую дубинку и в охотничьем азарте приговаривал:

— Ничего, далеко не убегут. Перехватим их там, где не ждут: пора с ними кончать, алкашами...

А алкаши все бежали и бежали, мальчик был в беспамятстве, время от времени он звал то маму, то папу, и тот, что нес его, задыхаясь, успокаивал: “Терпи, терпи, сейчас...” Второй, бегущий следом, все хрипел в пустую темноту: “Люди...”

И первый, и второй не знали, что будет с ними после того, как они добегут до людей.

Это позже люди будут вспоминать, что тот, который нес мальчика, добежав с ним до школы, через какую-то минуту умер от разрыва сердца, а другого увезли...

13

В семь пятнадцать, как показывали часы на приборной доске, в спальне шефа загорелся свет, а через минуту в машине зазвенел телефон.

“Наконец-то”, — подумал Николай и взял трубку.

— Ты где едешь? — вместо приветствия спросил чем-то недовольный шеф.

— Доброе утро, Эдуард Иванович, — бодро сказал шофер. — Я — здесь. Прибыл, как и было велено, без пяти шесть.

— На улице холодно?

— Есть малость. Если Владимир Трофимович будет так легко одет, как прошлый раз, наверное, неплохо было бы взять для него что-нибудь потеплее.

— При чем здесь Владимир Трофимович? — не понял шеф.

— Ну как же! Разве не его будем встречать?

— “Будем встречать”. Я встречаю, а не ты. Понял?

— Понял.

— Никакого Трофимовича сегодня не будет. Сейчас поедешь по адресу (шеф назвал), возьмешь там Константиновича, помнишь, ветеринара? Отвезешь его к Альбрехтовне. Подождешь, пока он там с Мартином разберется, привезешь назад. Затем подъедешь к Юзе. Да не жди во дворе, поднимись, позвони в дверь, доложи: “Иосиф Аркадьевич, я — в ваше распоряжение”. Погрузишь в машину то, что прикажет, да смотри, чтобы он сам не носил: говорит, ему руку срывать нельзя — пишет! А когда Юзик тебя отпустит, приедешь ко мне. Ясно?

Николай не сразу понял, что к чему. Если все так, тогда зачем нужно было ему так рано ехать к шефу? И вообще, не проще ли было сразу забрать ветеринара? Ведь Николай знал, где тот живет. Возил же уже его к Мартину. Помнится, когда ехали назад, ветеринар удивлялся: “Не пойму бабу! Такой породистый кот, а она хочет его кастрировать. Да он ей доллары должен приносить, да еще какие! Хотя мне что: за ваши деньги — любой каприз”.

Еле сдерживаясь, Николай сказал:

— Все сделаю, как сказано. Но не понимаю, почему так рано надо было к вам ехать? Я же в сторожке ночевал. А у меня жена родила, и сынишка один дома. Я же об это всем сказал.

— Ты что, учить меня собрался? Я что, должен перед тобой отчитываться? Ты же знал, на какую работу идешь?

Шеф “воспитывал”. Распаялся. С каждым его словом Николаю становилось все более обидно: не болит им чужое. И вот уже обида, как вода в половодье, поднимается до краев берегов, наполнила душу, пошла через края, он еле сдерживал себя, чтобы не взорваться. Это ему никак нельзя: выгонят! Тогда все, конец.

И он молча, до крови кусая губы, слушал дальше шефа. А тот все говорил и говорил, и каждое его слово, словно капля камень, била по сознанию. Дальше не было никакой силы терпеть, обида плеснулась через края, и он с болью молвил:

— Спасибо, Эдуард Иванович, но меня уже не ждите — ставлю машину в гараж.

Он не слышал, что шеф дальше кричал в трубку, — с презрением бросил ее. И сразу же почувствовал, как все начало входить в русло — схлынуло половодье, ушло, — на душе стало легко.

Он гнал машину по еще полупустынным улицам. Скорее, скорее в гараж! Он ехал и не знал, что в это время жена кормит дочурку. Николай не знал, что у той больное сердечко и что сегодня-завтра ее должен осмотреть какой-то “светила”, чтобы подтвердить: есть или нет у этого маленького человечка шанс на жизнь...

Николай спешил. Щетки на ветровом стекле судорожно счищали легкие снежинки. Он не знал, что в это время такие же снежинки медленно тают на еле теплящемся, сморщенном от невыносимой боли лице сына... Он не знал, что Гришку, выбиваясь из последних сил, чувствуя, что еще мгновение и разорвется сердце, не обращая на это внимания, несет на руках к школе чужой, не известный ему мужчина, для многих — пропащий человек. Николай не знал, что следом бежит другой и неистово хрипит в холодную пустоту: “Люди...”

Он не знал, что именно сегодня у мальчика начались обмороки — результат постоянного недоедания, недетской работы на сытых “дядей”. Не представлял, что Гришке сейчас очень и очень плохо и что сынишка в беспомощности зовет маму и папу...

Он не знал, что, пока ехал в гараж, шеф, оскорбленный его неслыханной дерзостью, позвонил сторожу и приказал: “Ни в коем случае не выпускать с территории водителя, когда тот поставит машину. Немедленно вызывать милицию, полицию, дьявола, самому на него наброситься, задержать до моего приезда!”

Он не знал, что как только поставит машину и положит ключи от нее на стол в сторожке, направится к выходу вдоль бетонного забора, обнесенного колючей проволокой, радостный сторож Ерофей бросится к овчарке, рвущейся на цепи и царапающей когтями утрамбованный возле конуры снег, спустит ее и с яростным наслаждением даст команду: “Чужой! Фас!”

Он не знал, что собака, почувствовав свободу и получив команду догнать, повалить, разорвать человека, бросится к нему, и пока он успеет повернуться, толкнет его в спину сильными передними лапами.

Он также не знал, что когда повернется на этот толчок, овчарка на мгновение отскочит в сторону, потом вновь подлетит к самому его лицу, раскроет клыкастую пасть и горячим шершавым языком лизнет в щеку, завилает хвостом, заластится: она каким-то своим внутренним животным чутьем почувствует, что сейчас на душе у этого человека и что ожидает его впереди.

Перевод с белорусского Максима Печеня.